

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Владимир Шапко

# Муравейник Russia

Книга вторая. Река

Владимир Шапко

**Муравейник Russia 2.**  
**Книга вторая. Парус**

«ЛитРес: Самиздат»

2018

## **Шапко В. М.**

Муравейник Russia 2. Книга вторая. Парус / В. М. Шапко —  
«ЛитРес: Самиздат», 2018

"Хроника времён неразумного социализма" -- означил жанр двух книг "Муравейник Russia" автор. В книгах рассказывается о жизни провинциальной России. Даже московские главы прежде всего о лимитчиках, так и не прижившихся в Москве. Общежитие, барак, вокзал, движущийся железнодорожный вагон, забегаловка - не только фон, место действия, но и смыслообразующие метафоры неразумно устроенной жизни. В книгах десятки, если не сотни персонажей, и каждый имеет свой характер, своё лицо. Две части хроники - "Общежитие" и "Река" - два смысловых центра: обывательское болото и движение жизни вопреки всему. Содержит нецензурную брань.

## Содержание

1. Только строим, или Всё могут короли	5
2. Равняйся! Марш Мендельсона!	15
3. Пряные цветы Востока	21
4. Танцы в парке по средам и субботам	36
5. Единые с летней природой, или Поле для одуванчиков	40
6. Одна порода	55
7. На празднике жизни	70
Конец ознакомительного фрагмента.	71

## 1. Только строим, или Всё могут короли

Шестнадцатизэтажное общежитие тёмно-красного кирпича высоко и сжато взметнулось вверх, в вечерний колодец неба. «Бастилия, – сидя в аллее на скамейке, кивал на здание Серов. – Крепость». С летучими сумерками к широкой лестнице, к подъезду, со всех сторон как-то крадучись перебежали люди. Словно даже на цыпочках. Короткими перебежками. Втискивались в дверь общаги, как в подкоп, и пропадали. «Коммунары... По одному... Открытым штурмом такой монолит не возьмёшь... Нет...»

Серов смеялся. Как будто с подмороженной челюстью. Безвольно подёргивалась потухшая папироска в поялых пальцах, свесившихся с колена. Новосёлов сидел, не знал что сказать.

– Серёжа... опять ты напился...

– А я всегда «опять», Саша, всегда...

Меж колен Новосёлов мял руки, с тоской смотрел вверх на вечерние растоптанные облака. Хотелось и убить этого парня, и обнять его, и заплакать. А Серов разглагольствовал: «Все мы «опять» в этой жизни, Саша, все мы, что называется, в этой жизни как во сне, как спим. Кстати, не есть ли сон человека – его репетиции к небытию, к смерти? Ежедневные, еженощные, вернее сказать, репетиции? Более того, не есть ли глухое, жуткое пьянство человека – до отключки, до потери сознания – стремление его, инстинктивное стремление к таким репетициям? К смерти? А? Думал когда-нибудь об этом?» Новосёлов всё смотрел на вытопанное небо. Что он мелет! Что! Зачем! «Роман надо отрясать, Лёша. (Где?! Какой Лёша?!) Тряси. Как стог. Как сена воз. Пусть останется копёшка. Одна копёшка от воза. Чёрт с ним! Зато какая копёшка, Лёша! (Серов явно путал Александра Новосёлова с Алексеем Дылдовым. Не доспорил с ним, а вернее, не допил.) А ты едешь, боишься тряхнуть. Всё тащишь... Тряси. Смело! Гони телегу с Пегасом! По рытвинам, по ямам!..» Поспевать за пьяными фантазиями друга Новосёлову было явно не по силам. И вроде бы говорит продуманное, толковое, увиденное, а всё кажется глупым. На фоне пьяного флёра его, всё это – глупость, поза, выпендривание. Не воспринимается всё это от пьяного.

Серов мазал себя светом спички, прикуривая мимо. С радиусно-волосяной, солнечной мордой зажмурившегося кота. Домой он явно не спешил. Начал что-то молотить непотребное о локонах жены, о семейных её бигуди, коим он, Серов, ежедневный свидетель, а это, сами понимаете, что кальсоны в обтяжку на мужике, – так же неестественно, нелепо, противно...

Новосёлову хотелось дать ему в рожу. Вместо этого глухо спросил:

– Зачем же ты женился? Для чего тебе Такому было жениться?

– Да как сказать?... – Лицо подловатого было пресыщенным, забалованным, но и озабоченным слегка. – И без бабы нельзя, и с бабой невозможно... Тут ты как петух над ярмаркой на шесту, сидишь – и слететь порываешься, а – как?..

Фальшь! Притворство! Понт! Новосёлов морщился. Нужно было уводить как-то трепача, уводить домой. Где он надрался? В гараже, что ли, опять? Со слесарями? С Дылдовым ли? Получку-то сегодня не дали? Новосёлов докуривал папиросу. Серов, чувствуя, что попался, бубнил: «Она никогда не вынет из ящика просто газету. Не-ет. Она вынет Почту. (Чувствуете разницу?) Почта была? – спрашивает она. – Я просматриваю свежую почту! Это из того же ряда, что – Мой Кофа!»

Новосёлов поскрипывал зубами. Нужно было что-то делать. Вмазать, что ли, наконец?

– А её дневники? У большинства – как? Уходят дни – и всё. У этой – нет. Все дни свои записывает. В тетради. Как в гробы закладывает. Упаковывает. Чтоб навечно было. Гробы, гробы, гробы. Из года в год. Нескончаемой чередой. Кладбище собственной жизни на полке основала, погост. Зачем? Она же не учится у жизни, а – учит себя жизни. Прилежно учит. А всё без толку. Всё не туда. Всё не так. Она же правый ботинок на левой ноге!

– Заткнись! – Новосёлов глянул на приплясывающие ножонки. – Заткнись лучше!..

Серов заткнулся. Но ненадолго. Из общаги вышел парень в синей форменной одежде почтового ведомства. Форменная фурага на голове была размером, по меньшей мере, с добрую хибару. С непробиваемо счастливым, светящимся лицом прошлёпал, прогрёб мимо друзей прямо по луже. На брюках означились чёткие ватерлинии. «Вот они! – тут же вскинулся Серов. – Умственно отсталые московские ребята. Счастливые разносчики телеграмм. В почтовых синих пиджаках. Со спецсумочками. Такой не понимает, что принёс – рождение или похороны: «Вам телеграмма! Распишитесь!» И глаза сдвоил! И рот в улыбке до ушей! Удобные ребята... Вот бы нам так. Здесь в Москве. А? Вот тогда б мы были точно настоящие. Без всяких примесей. Настоящая Московская Лимита!..»

– Ладно, хватит! Пошли!

Новосёлов решительно поднялся, двинул к общежитию. Поплелся и Серов, оступаясь пьяными ножонками.

– Сдавать повёл... Жене... До двери доведёшь, или как?..

Мимо к крыльцу всё так же прошмыгивали люди. Серов вяло растопыривал лапы, словно пытался останавливать, удивлённо поворачивая в их стороны голову: куда такая спешка? Лимита? Вы разве не настоящие еще? Побеседуем! Перед тем, как войти в стеклянную клетку, взявшись за ручку двери, обернулся. Шерстяные тучки над упавшим закатом взвесились раз-малёванным бабьим платком...

Матрас отобрали. Выдернули из-под Серова. Бросили на пол.

Лежал на голой сетке полутораспальной семейной кровати как клоун-циркач, в очередной раз слетевший с верхотуры, с каната. С разбросанными ручками и ножками. Нужно вот теперь находить силы и лезть вверх снова (или даже не лезть – а этаким игрунчиком! игрунчиком взлететь! с откинутой ручкой!), упорно доказывать всем свою дееспособность в роли этого дурацкого циркача, что называется, привлекать, кривляться... Да пошли они все к дьяволу! (Кто? Начальство цирка? Коллеги? Зрители?) Слетел, лежу – и буду лежать-качаться!

– Сетку порвёшь! Дурак!

– Ничего, другую повесят...

Жена нагорбилась у стола со злой, летающей, нетерпеливой иголкой с ниткой, будто растерзанная вся. Растерзанная им, Серовым. Тощие лопатки жены, вылезшие из комбинации с оторванной бретелью, торчали как зачатки крыл ангела, по меньшей мере. К утру отрастут. До нормы. Точно.

У тахты, используя её как стол, рассматривали картинки в детской книжке Катька и Манька. Стоя на коленях, в колготках под самые грудки, смахивали на двух пузатых кентавриков. Серов залюбовался. Сестры прервались, и к отцу подошла Манька, волоча книжку за ухо. Хлопнула ему на живот: «Смотри – это ты». Старый король придурочный какой-то сидит. На троне. Потонул в большой белой шубе, будто в тесте с изюмом. И королевская корона на голове – как усатый завивающийся горох. Клоун, собственно, а не король, сидит... «Давай почитаю». – «Нет. От тебя водкой пахнет. Ты пьяный...» Старшая её сестричка наблюдала, хватая смех в горстку. Та-ак. Ещё два ангелочка растут. Нужную песенку уже знают. Выучили. Далеко пойдут. Дальше матери. Торжествуя Манька пошла, уволакивая книжку, к сестре. И молча, солидарно встали они возле матери, взявши её за руки. Оберегали. Евгения словно рвала халат иголкой. Девчонки терпеливо удерживали её руки... И сдавило горло Серову. Бетонный, шершаво-белый потолок комнатёнки был тесен, близок. Как дыхание Серова. Как удушье. Серов вертанулся к стенке, крепко сомкнув веки. Откуда-то сверху, будто с затеснённого крохотного поднебесья, бомбил голос. Голос-стимулятор. Вывернутый и откровенный, как девка в белье. Хорошо вздрючивающий мужской половой гормон:

*...Всё мо-огут ко-рроли-и!*  
*Всё мо-огут ко-рроли-и!*

Уже одетым, перед уходом попил воды. Заворковало в желудке, как в пустой голубятне. Одним оставшимся голубем. Нужно было что-то съесть. Ничего не лезло. Ни вареник, ни колбаса... Побежал, вырвал всё. Подскакивал над унитазом, как лягушка. Точно с выдернутым желудком, не мог отдышаться на кровати. Вытирал холодный пот. Никаких денег на столе оставлено не было. Ни рваного, ни на метро. Пошарился по своим карманам. Пусто. В очередной раз оглушительно пропился. До копейки. Пустая консервная банка, которую можно каждому смело пинать. Жене особенно. В первую очередь. Какую-то посуду собирал. Открыто. В сетку. В крупноячеистую сеть. Больше не во что было. Зачем-то написал, что поедет в редакцию, к Зелинскому. А потом, может быть, к Дылдову... Подумав, порвал бумажку.

Нагло прошёл с посудой по вестибюлю мимо Кучиной-Сплетни. С папкой под мышкой. Как, по меньшей мере, с документально оформленным стеклянным изобретением в сетке. Вахтёрша вскочила, тянулась, подпрыгивала, порывалась с вахтовым столиком бежать, как с колодой.

Перед винным ожидающая толпа являла собой какое-то разноплеменное, вынужденное братство. Что-то вроде общества слепых. Или глухонемых. Были тут и рабочие в утренних хладных спецовках, и очкастые работники умственного труда, и полнокровные братишки-ветераны, с распахнутыми грудями, как с розовыми кабанчиками (ничего их не берет, чертят!), и даже несколько славных тружеников подмосковных полей, огруженных мешками. Серов внедрился в братство. С папкой под мышкой и бутылками. Интеллигент. Очков, правда, не было. Ровно в десять начался штурм. Серов вздёргивал бутылки в сетке вверх, как льготы. Бутылки звякали, стучали по головам. «Куда лезешь! Не принимают!» – «Примут», – с оптимизмом висельника хрипел Серов.

Курил возле подземного перехода, освободившись от бутылок. По огрызку лестницы на гаишном щитке вниз скандыбывал пешеход-инвалид. С обтяпанными ступнями ног и кистями рук. Весь перебинтованный. Дисциплинированный уже, поумневший. Чувствуя какое-то шkodное родство с ним (добегаля через дорогу! допрыгался, гад!), Серов подхихикивал. Ударялся смехом. Но тут же честно выказывал глаза пешеходам натуральным. И вновь сворачивался от смеха, едва глянув на кореша на щитке. Спускаясь по пути фантома вниз (как бы вместе с ним), от смеха выронил дерматиновую свою папку, которая шмякнулась на ступеньки. И лежала. Сродни чёрной плюхе. Подхватил, ловко понес, приручая.

Вот говорят: нельзя ступить в одну реку дважды... Да ерунда! А если река давно стоялая? Болото? Можно всю жизнь в нём толочься. Не вылезая никуда. И толчемся. А тут – нельзя. Чушь собачья! Кто бы мог такое сказать, Лёша? Серов не поспевал за горячечными своими мыслями, за своими монологами, обращаемыми то к Новосёлову, то к Дылдову. Быстро, но как-то несобранно, нараскоряку шёл по подземному туннелю метро. Как по гигантскому колумбарии. С закрудрявленными светильниками. «Да друг твой! Зенов! Бичара! Хахаха!» Ударялся о встречных. Трепыхался с обязательностью боксёрской грушки: пардон! пардон! Иногда увиливал, уходил. Нырками. Вправо, влево. Снова нарывался, весь сотрясаясь. «Знаешь, кого он мне напоминает? Не кого, вернее, а – что? «Изобретение признанное самым сложным и абсолютно бесполезным!» Так комментатор объявил. Хах-хах-хах! По телевизору показывали. Года два назад. В Америке один гражданин изобрёл, потом сделал, собрал своими руками машину размером с твою комнату, с пола и до потолка начиненную колесами, колесиками, трансмиссиями. Всё это медленно поворачивается или, наоборот, быстро-быстро кру-

тится, мигают многочисленные лампочки, счетчики работают, бегут потоки цифр, какие-то гудочки возникают, звонки, сигналы. Для чего это всё? Оказывается – для заточки карандаша. Не карандашей (это ещё можно понять), нет – карандаша! Одного! Единственного! Размером с увесистое бревёшко. Сам очкастый изобретатель поднимает его и демонстрирует всем. Затем запускает в этот гигантский агрегат. Машина начинает отчаянно мигать, звонить, квакать, зубчатые колеса поворачиваются, мелкие колесики наперегонки вертятся. Все с интересом ждут, приседают, высматривают. Минуты две проходит – карандаш медленно выползает из системы. Заточен! Изобретатель, не без усилия, подхватывает его, показывает. Аплодисменты. «Это изобретение признано самым сложным и абсолютно бесполезным!» – заливаются в микрофон комментатор. Хахаха! Так твой Зенов – такая же машина. Да и мы заодно с ним! Лёша! Хахаха! Точим! Карандаш! Один-единственный! Дурацкий! Лёша! Хахаха! Карандаши мы, Лёша, понимаешь! Машины сложные – и карандаши! Ха-ах-хах-хах!»

В летящем вагоне упорно стоял только перед дверьми, точно с намереньем первым выскочить. Когда пассажиры дружно выходили и дружно вваливали обратно (одни и те же будто! одни и те же!), с готовностью вскакивал перед ними на носочки, затаивал дых и потуплялся, как всё та же балерина. Двери с шипом схлёстывались. Сразу отворачивался от людских глаз, чтобы остаться опять один на один с чёрным родным своим человечком, который упорно летел с папкой под мышкой, не отставал ни на шаг, чёрно кривлялся за стеклом. А-а, га-а-ад!

Они читают нас, Лёша, всегда. Все эти зелинские, все эти кусковы. Они принимаются читать нас с каким-то горячечным, нетерпеливым любопытством. Они читают нас, чтобы с радостью убедиться – как плохо мы пишем. Как мы бездарно, отвратительно пишем! (А, Лёша! Хахаха!) Наша так называемая проза прямо-таки радует их, веселит, как всегда радует-веселит публичный скандал их общих знакомых, знакомого, его жуткая оплошность, какое-нибудь роковое его полудурство: драка с женой, к примеру, после которой он ходит весь перецарапанный (Хахаха! Други! Клоун!), попадание в вытрезвитель (Хихихи, товарищи! Подобрали прямо с земли! В стельку!) – всё то, после чего можно смело заорать: А-а-а! Что я вам говорил! А вы его защищали! То-то вам! Они искренне считают нашу писанину саморазоблачающейся, пустой, глупой, пародийной. И после чтения очередного нашего опуса на душе у них становится легко, маслянисто и даже лучезарно. Со слезами на глазах, как любовниц, с которыми у них никак не получается, они оглаживают свои рукописи. Свои. Лежащие на столе. Оглаживают мгновенно вспотевшей, трепетной рукой. Ха-ах-хах-хах! Мать их за ногу! Лёша!

– Только строим! То-олько строим! – выпевала воспитательница. – Кто-о не бу-удет ходи-ить стро-оим – того...» Что – того? – Серов не расслышал. Маленький детсад медленно разваливался на тротуаре, топтался, никак не организовывался в строй.

– То-олько стро-о-оим! То-олько стро-о-оим! Кто-о не бу-удет ходи-ить стро-оим... того-о оста-авят без сла-адкого-о...

Воспиталка ходила, раздёргивала цеплявшиеся друг за друга, оступающиеся пары. Наконец вроде бы пошли, вяло колбася ногами, по-прежнему разваливаясь.

– То-олько стро-о-оим!..

Катька, а за ней и Манька начали оглядываться, утаскиваемые двумя мальчишками, пытались помахать отцу, но воспитательница толкала их вперёд: быстро! быстро!

– То-олько стро-о-оим!..

Серов стоял с папкой под мышкой, мучительно, жгуче жалел и дочек своих, и весь мир. Топил всё в апостольских, алкоголических слезах. Ведь нет сильнее, мучительнее чувства, чем жалость. Нет ведь, нет! Понимать скоротечность, глупость жизни людей, понимать... понимать... взять чернил – и плакать. Да-а-а... Однако торопливо стал вытираться платком, увидев,

что явно к нему спешит от детсада бухгалтерша. Прямо спотыкается о плиты дорожки, скачет. Никак не может подогнать (рассчитать) их длину под торопливенький свой шаг. «Вы что же это, Серов, а? Елена Викторовна вам сколько говорила? (Елена Викторовна – это мадам Куролленко. Заведующая детсадом.) Нам что, в суд на вас подать? Вы когда должны были заплатить? Какого числа? А сегодня какое?..»

Отлаяв – пошла назад. Жёстко стянутые, как абхазские мочалки, волосы понесла от Серова будто раскидистый целеустремленный веник. Сейчас пригнется и что-нибудь смахнет с дорожки. И точно – пригнулась, смахнула с плиты скомканную бумажку. Вернее, подхватила её. Как совком. И понесла. Понесла к урне у крыльца. Молодец. Прямо умница. Отличница. Пожизненная хорошистка.

Зачем он явился сюда? Для чего? Ноги, что ли, сюда его вынесли? Через дорогу, перед закрытым киоском за каким-то товаром сдавились граждане. В святой своей жадности обиженные – очень. Какое ему дело до них? Его ли это должно касаться? Пошли они все к дьяволу! Ему нет до них никакого дела! Бумаги их туалетные! Дихлофосы! К чёрту! Серов словно отцеплялся от чего-то, уходя. Да пошли они!..

Входную дверь открыла соседка Дылдова. Волосы её были дремучи. «Ну?» – «К Дылдову». Серов пошёл за ней. «Ходят тут. А Лёшка, гад, за свет, не плотит. Писатель долбаный. Целыми ночами жгёт. Я что ему – миллионерша?» Утренняя растрёпа в халате стала набирать из крана в кастрюлю воду. С папиросой в зубах, как со свистком чайник. Выползла откуда-то её мать-старуха. С нечесаными, как у дочери, волосами – как вконец опустившаяся паутина вконец запущенного паука. «Кто это пришел-то? Чёй-то и не узнаю совсем?» «Да иди, иди ты, мать! «Не узнает» она! Ещё один алкаш пришёл к Лёшке-алкашу! Иди давай, иди! Не узнает она, видите ли!» Старуха разом превратилась в старушку. Пошла, зашаркала шлёпанцами. Отрясалась пальчиками, как льдинками. Да, церемоний тут не ночевало. Серов написал записку: «Был. Серов». Воткнул в щель двери.

Сверху Воровского прямо на Серова шла какая-то посольская дама со связкой гнутых английских собак. Пёрла как с рыболовными крючками! Серов отскочил в сторону, разинув рот. Собаки цеплялись друг за дружку, образуя какое-то бестолковое перекасти-поле, перманентная старуха наклонялась, кричала им по-английски (те ни черта не понимали), хлестала поводками, дёргала. Тонкие ноги её в тощих чёрных чулках были точь-в-точь как трусливые ноги у её подопечных. Вся связка повалила вниз по Воровского. Пешеходы вставали на носочки. Как пред катящимся расстрелом! Прижимались к стенам домов! Да-а, Катька с Манькой не видят. Запомнили бы на всю жизнь! Серов даже прошёл мимо четырёхэтажного злощастного своего здания, припрятавшегося за дымищимися утренними деревьями, не заметив его, забыв о нем.

В знакомой Серову стекляшке, перед раздаточной по-прежнему голодно выглядывали друг из-за дружки негры. Всё те же африканцы-студенты, кормящиеся здесь от окрестных своих посольств. С головками – пыльными. Русски Солянка! Вкусни Русски Солянка! Русски Солянк – Это Хорошо! Повтор единственного освоенного урока из русского языка под названием «Русская солянка» («Русски солянк») шёл здесь интенсивно, радостно, каждый день. Двоечников не было. Но солянки им пока не давали. Не готова была пока ещё солянка. Краснощёкие русские поварахи в марлевых метровых митрах выходили с десятками тарелочек в пухлых руках. С приятным стукотком раскладывали перед пыльными аппетитнейшие пасьянсы. Из всевозможных салатов, сыра, копчёной колбаски, ветчины! Негры принимались ширкать ладошками, как будто добывать палочками огонь. В восхищении вертелись к Серову, призывая в свидетели. Серов кивал. Рванул стакан Резинового у буфета. Проникновенно сдувая дрянь

с губ, смотрел на обнажённую, растаявшую конфетку. Отложил на стойку, думая то ли здесь вырвать, то ли на улице. Пыльные ему улыбались. Серов икал, тоже улыбался в ответ. Буфетчица хитро, откуда-то снизу, поднесла резинового... Ринулся на улицу по стульям, не разбирая дороги.

На углу отлавливал машины глазастый светофор. И справа, и слева. За дорогу грозил. Пешеходам. Я вот вам! Иногда разрешал. Зелёно офонарев. Пешеходы толпой бойко шли. С дисциплинированностью механизмиков. Светофор перемигивал всё – и лавой бросались машины... И опять пешеходы пошли большим гамузом. Бойкие, жизнерадостные. Серов тупо смотрел. С папиросой меж пальцев. Сидя на скамье. Злила почему-то эта по команде включающаяся, жизнерадостная дисциплинированность двуногих механизмиков. Хоть бы один, гад, нарушил... И выскочила одна, и заметалась, и забегала, стегаемая визжащими тормозами. И улетела обратно под ухмыляющееся злорадство механизмиков. «А-а! – заорал Серов, хохоча. – Высунулась! Съела! Так тебе!» Вдруг увидел двух приближающихся сизых призраков. Со скамейки перескакал сразу к пешеходам. Затесался в них. Он, Серов – тоже пешеход. Пошагал с толпой через дорогу. Дисциплинированный больше всех. Смотрел прямо в глаз мотающемуся светофору. На каждом перекрёстке торчат эти кошачьи перископы! На каждом! Весь город, гады, просматривают!

Выпито было уже три стакана резинового. В трех забегаловках отметил. По одному в каждой. Деньги (дополнительно к посудным) обнаружил в заднем кармане брюк. Вчера, оказывается, запрятал. Так что на бетонном крыльце редакции был уже хорошо поддат, бодр, смел. Просто докуривал папиросу, обозревая, так сказать, окрестности. Белоголовый прошлогодний старик опять копался на пустыре. Теперь уже с саженцами. Конец весны, тополь вон стоит – тяжёлый, сытый, майский, – а старик сажает. Упорным оказался. Не зря всю осень ковырял землю. Привозимые горки земли раскидывал по пустырю. Готовил. Дождался-таки своего. Высаживает. Облагораживает пустырь. Память о себе оставляет. Сыновей, наверное, насажал по всему Союзу. Теперь – дерево надо. Деревья. Ладно. Чёрт с ним. Серов обильно пустил слюну в картонный мундштук папиросы. Дурная привычка. Гадливо удавливал, умерщвлял. Чинарь неэстетично шипел, став жёлтым. Хотел в урну его – урны не оказалось. Походил с чинарем этим по крыльцу, не зная куда его навесить. За стеклом увидел вахтёра. Деликатно окурок ушмякнул в ложбинку, у стекла. Весь культурный. Улыбался ветерану. Старикан не давался. Переносица его означилась канцелярской резкой скрепкой. Ожидался следом какой-нибудь скоросшиватель, санкционированный дырокол, ещё что-нибудь подобное. Не дожидаясь этого, Серов взял злосчастный чинарь и снёс с крыльца как бяку. Бросил от крыльца подальше. Честно отряхнул руки. Три раза. Вот так: раз-два! три!

«А названия ваши, Серов? (Зелинский опять смотрел поверх дрожливеньких очочков, как поверх своих слёзок, готовых сорваться, упасть, закапать.) Одни названия ваши чего стоят? – «Рассыпающееся время»... А? А теперь вот ещё чище – «Самая долгая тихая паника»... Это про наше время, что ли?.. Наивный вы человек, Серов... На что вы рассчитываете?..»

Серов вдруг встал, отошёл к окну. Далеко внизу, в тугом шуме улицы вдруг с припляской затеснилась, размахивала ручонками странная беззвученная группка на тротуаре. Неожиданная для восприятия, какая-то невероятная. Точно внезапно увиденный страстный театрик глухонемых. Массовка. В их клубе, на сцене... По закону всё той же пьески для глухонемых группка утанцевала обратно за угол, страстненько махаясь руками... Серов повернулся. Что это было? Мгновенно оплодотворившаяся спекуляшка? Обмен книг? Марок? Перепродажа квартир?

Всегдашние сотрудники Зелинского были на своих местах. С черепом, как с учебником геометрии, один цедил что-то о смури, о явном закидонстве. Цедил без всякой улыбки. Нимало не смущаясь, что Серов слышит. Второй откровенно хохотал, чубатый, как деревенский рубанок. Зелинский терпеливо ждал, повернув очки к Серову. Но тот виновато улыбался, точно приклеенный к окну.

За окном промахала сорока. Двумя этажами ниже. Как медленный, томный, подмигивающий из-под чёлки ворожейки глаз... Серов вдруг опять увидел себя висящим. С синей душонкой, бьющейся изо рта! Как уже было! В комнате у Новосёлова!.. Теряя сознание, зажмурился, застучал ногой об пол...

– Что с вами, Серов?

«Ничего. Извините». Серов подошёл, стал собирать свои бумаги. Напротив столов задёргалась дерматиновая дверь с табличкой. Точно её не могли открыть изнутри. Настежь распахнулась, выдернув за собой из кабинета двух людей. «Да что вы нам всё талдычите: вот мы в 20-ые, вот мы в 30-ые, в 50-ые там, в 60-ые ваши!» Парень перестал на время кричать, чтобы его разглядели. Парень был из так называемых Молодых. Лет... сорока пяти, пятидесяти. В чёрной бороде пылал, как головня в дыму. Был на грани драки. Опять подступал к лицу начальника. Слова отлетали от лица пузатеньного человечка, как от бубна: «Не знаем мы, как было у вас! Не знаем! И знать не хотим! Понимаете! Сейчас, сейчас что вы сделали! В конце 70-ых! Во что превратили редакции! В крепости! В бастионы! Ведь теперь надо не писать, нет (когда писать? зачем? некогда!), пробивать теперь надо уметь! Пробивать! Бегать по вашим редакциям! Проталкивать, пропихивать! Пролазой быть! Прохиндеем! Но и тут вы преуспели! Вы! А не мы! (Куда нам!) Таланты среди вас! Мастера! Гении-пролазы! А нам что делать? Нам? Так называемым молодым? В редакции ваши пролезать? Вот с этими обалдуями сидеть?» («Обалдуи» вздрогнули и выпрямились за столами.) Парень вдруг с ужасом начал «прозревать», озираясь: «Да у вас же здесь абортарий. Натуральный абортарий. Чистите у всех подряд. Сколько трупишков намолачиваете. В день, в месяц, в год! Это же уму непостижимо!.. Да чтоб я ещё в ваши ср... редакции... И ведь два года, придурок, ходил... Два года!..»

С папкой, как у Серова, бородатый пошёл. Хлопнул дверью.

– Вот – пожалуйста! Экземпляр! И таких сейчас – сотни! Уже не просят, нет, – требуют, стучат!

Толстенький Кусков заложил большие пальцы в кармашки жилета. Остальными поигрывал на выпяченном животе. Резко вставал на носочки. Как бы прикидывал свой вес. С весом всё было в порядке.

– Нет, Серов, не-ет. (Серов сразу осознал свою вину, своё пожизненное родство с бородатым, понурил голову.) Писатель должен быть худым, Серов. Тощим. Голодным, злым. Как гончак. Вот тогда он добежит. Вот тогда он догонит. Зубами схватит свою удачу!.. Зу-бами!..

Толстенький человечек опять подкидывал себя на носочки и покачивался с заложенными пальцами рук. Он был Первый Заместитель Главного Редактора. Достиг. Дотянулся. Допрыгнул с носочков. Вон, даже под оргстекло на двери фамилию свою загадил. Всё правильно. Тощий Серов (тощее некуда, гончак!) стоял перед качающимся самодостаточным пузаном, не зная, отвечать или не отвечать?..

Один был полный, лысый, с двумя клубками раскалённой проволоки на щеках, другой – худой, бледный, с вислым остывающе-фиолетовым носом, который он периодически макал в пиво. Стоя за одним с ними мраморным столом, Серов упорно глотал резиновое. Не пиво – резину. По семьдесят коп. стакан. Стакан за стаканом. Говорил, как радио, вылезшее из подполья. Неизвестно кому. «Самоедство сюжета. Заданность сюжета. Вот что им нужно. Заданность. Чтоб самоедство схемы было, идеи. Чтоб всё подчинялось им. Чтоб схема пожирала самоё себя. Фильм о пьянице, к примеру. А-а! Мы уже знаем, что нас ждёт там. Всё зарезер-

вировано для этого, весь антураж, вот как здесь: забегаловка, дым коромыслом, алкоголики над столиками, как поголовье. Герой стоит, пьёт резину, два бича рядом – пиво. Один толстый, другой худой. С носом. С карикатурным. Для контраста. Для хохмы. Всё зарезервировано. Заранее. Век назад. Сво-ло-чи!» Серов сходил в дым и неожиданно вернулся с пивом. С двумя кружками. «А рецензии их? Внутренние их рецензии? Которые они всегда садистски подсовывают тебе? Это же блины! Неотличимые блины! Блины русского православия! И во здравие можно, и за упокой! И живой вот ты пока на этой страничке – поешь наш блинок, улади душу, а на этой ты уже сдох – и жрём теперь блины мы! На помин тебя! Ясно я говорю? Или разжевать?» Исподлобья Серов счёт предъявил толстяку. Глаза бича не давались. Он хлебнул пива. Точно своей отрыжки. Худой, наоборот, навалившись на столешницу, изучающе смотрел на Серова из-под носа своего, будто из-под палицы. «Хватит тебе, друг... Хорош уже...» – «Слоны дробина!» Серов будто на спор начал дуть из кружки не отрываясь. Закусывал пиво, будто лошадь удила. Выпил. Вторую кружку... двинул к носатому. С пьяным морем по колено в башке – пошёл. Из пивной.

– Папку забыл!.. Писатель!..

Вернулся. Забрал. Снова пошёл.

На бетонном крыльце редакции ветеран толкал его. Сталкивал с крыльца. С лицом, как несмазанная судорога. «Да ответить мне! – боролся Серов. – Ответить мне надо! Козёл!..»

Поматывался у крыльца. С папкой. Как с неразлучной плюхой. Раздувал ноздри. Увидел другого ветерана. На пустыре который. Белоголовый. Ага! Сейчас я тебя!..

Точь-в-точь как Кусков, пыжился, вставал на носочки, гундливо говорил приостановившемуся у земли человеку с испуганным старым лицом. Что-то насчёт ишаков, насчёт бесполезного ишачества. И вообще – что он тут ковыряется второй год? Кто разрешил? Кто позволил?

Белоголовый стряхивал с колен землю, точно готовился вмазать шакалу. Высоко засученные, сплошь татуированные руки его как-то неуправляемо поматывались. Как змеи. Как шершавые ужи. Перехватив взгляд Серова, он скатал рукава рубашки. Застёгивая пуговицы, стоял перед пьяным сопляком с папкой, словно вернув себе отрешённость, смотрел в никуда... Серов начал было опять...

– А ты кто такой?

– Я?.. Писатель!.. Шофёр... А в чём дело?!

– А ты отпаши с моё, земляк, может, тогда и поймёшь чего.

Серов тупо думал.

– Прости, старик... Давай вместе... – Отшвырнул папку. Под угрюмое молчание белоголового выдёрнул из кучи деревьев кусток. Всунул в ямку. Охватил его весь до верху, чтоб ветки не мешали.

– Давай! Засыпай!

– Костюм испортишь...

– Ерунда. Давай!

Старик ползал, засыпал, загребал руками. Потом ползали оба.

Сидели с двумя бутылками румынского сухача, как с игрушками, как с кеглями. (Сколько их надо наколотить? Чтоб до упору? Уйму!) Сидели на ящиках. На пустой таре. В заднем дворике гастронома, заваленного этой тарой до неба. Отсасывали из бутылок, засовывая их в скошенные брылы. «У меня этих рецензий, отец, тьма. Все они – как блины в русском православии: и во здравие можно употребить, и за упокой!.. Где-то я уже говорил так? (Говорил в пивной. Часу не прошло.) Да ладно. В общем как хочешь, так и употребляй. Впрямую в рожу уже не бьют – уровень рукописи не позволяет. А всё так – из-за плеча как-то, из-за уха. И вот – рукопись перед тобой: отвергнута – это правда. То есть блин-то, в общем, за упокой тебе

поднесли... Но ничего: мы ещё поборемся. Мы ещё ответим им. Найдём слова. (Серов сделал отсос.) Хлопать дверью не будем. Не дождутся». Серов сидел на ящике, поставленном на попа. Высоко. Как на троне. Белоголовый – на низком, у ног его. Придворно был предан. С проникновенностью профана давал последний, самый хитрый совет: «А если тебе... подгонять? Под них? Писать как они?» Из рта старика сорока пяти лет высверкивали сплошные железки вместо зубов. Но волос на голове был короток и крепок, как белый испод дублёнки. «Э, нет, отец! Соловья крикать не научишь! (Соловей – понятно кто. Ну а кричающие – тем более известны.) Это всё равно, что пытаться изменить свое письмо, почерк. Или – походку. Клоун будешь, а не пешеход. «Подгонять». Как к ответу в задачке. Не выйдет! Пусть будут кособоки все, хромоноги, зато сразу видишь – кто идёт. Не спутаешь. А в строю? Идут. Все жизнерадостные, как идиоты, все в ногу, все хором – разбери их там! Вот и приходится говорить о кособокости, хромоности таланта, отец. Не может быть талантов в строю (новая максима Серова), не может!»

– А-а! Вот ты где!

Ростом женщина была полтора метра. Кубышка-бас. Все мясные свои сущности, всю мясную свою массу сосредоточившая в верхней части тела. Платье висело балахончиком. И кулачки в бока воткнула, как и полагается воительнице. «А-а! Устроились! А я смотрю: инвентарь брошен, работа брошена! А он попивает! С дружкой! Я тебе поплюю, паразит, я тебе погужу!» Белоголовый сразу стал неузнаваем, суетлив. «Извини, земляк, пора, в другой раз». По секрету докладывал: «Хозяйка моя, хозяйка, стро-огая, страсть!» Глаза его восторженно прыгали, как после внезапного большого выигрыша. Бесстрашно толкаемый кулачком в затылок (для этого кубышке приходилось подпрыгивать), шёл, счастливый (ему дают по горбу! по горбу дают! господи!), оправдываясь: «Ну что ты, Галя! С другом ведь! Ладно! Не буду!» Обращивался к Серову, подмигивал, прямо разрывался весь от смеха и счастья. А кубышка-бас все шпыняла, подпрыгивая. Так бесстрашно подпрыгивают и долбят слонов палками по башке чернокоженькие погонщики-мальчишки. Где-нибудь в Индии. Или в Африке. Где застрял у Серова Миклухо-Маклай. Да-а. Надев на пустую бутылку брылу, Серов задумчиво и дико гудел, как дикой башкирин на курае. Отшвырнул бутылку. Стоило ли из тюрьмы мужику выходить?

На Беговой увидел сизых призраков. Опять двух. Идут прямо навстречу. Повернулся, быстро пошёл обратно (куда?). Старался выправлять походку. Почерк. Малодушно побежал. Сзади тоже припустили. От собак бегать нельзя. Нет. Ни в коем случае! (А как быть?) Заскочил в большой пустой двор. Бежал вдоль окон с папкой под мышкой, как казнокрад. Куда? Нырнул под скамью у подъезда. Прямо на землю. К кусту сирени. Призраки пробежали дальше. Вернулись. Ноги в сизых отглаженных брючонках заходили прямо под носом у Серова. «Сгинул, гад! Может, живёт здесь? Опытный, сволочь!» В окне выделял руками какой-то толстяк в майке. Показывал призракам. Мол, туда, туда чешите. Дальше! Там он! Там! Милиционеры недоверчиво смотрели. Лысеющая голова толстяка походила на муравейник. Толстяк уже откровенно хохотал. Гад! Мильтоны с достоинством пошли. Серов вылез из-под скамейки. В costume, уже как в пятнистом маскировочном халате. С папкой под мышкой. Не замечая прыгающего с бутылкой пива толстяка (го-о-ол! заходи, алкаш! обмо-о-ем!), Серов тоже пошёл. Бодрым подскочным шагом. Смотрел на окна. Ну не дают человеку прозвучать гордо! Ну не дают – и всё! То-олько строим! То-олько строим! Сво-ло-чи!

Вечером Серов, пройдя мимо общаги с песней («Всё мог-гут кор-роли! Всё мог-гут кор-роли!»), долго маршировал по пустырю из конца в конец. Был неразлучен с папкой, как с родной своей плюхой. Шёл поперёк. Запросто, как сеятель по своим злакам, на ходу проводил рукой по натканным по пустырю прутикам, которые он насажал сам! один! все до единого!

Никакого субботника не было! Забудьте! Он сеятель, он садовод. Дом у него есть, построил, вон за спиной, дворец, деревьев насажал море, сына?.. ладно! потом! девки сойдут! жизненный урок выполнен! Можно в ящик! Как баран, вдруг уставился на небывалое солнце. Солнце попало землю. Тонконогое, как король. В облачках, как в поддутых штанишках... Как это понимать?..

*Э-всё мог-гут кор-роли!*

*Всё мог-гут кор-роли!*

По краю земли Тонконогий маршировал вместе с Серовым. Туда и обратно. Туда и обратно.

## 2. Равняйся! Марш Мендельсона!

...Билеты были жёлтого цвета. Не синего. Ясно, что на концерт, а не в кино. Никулькова заговорщицки-хитро подставила их Серову. Как главный выигрыш его. Как из сберкасы она. С плаката.

Серов затосковал. Лучше бы уж в кино. Надоело всё это порядком. Все эти дергающиеся певички. Скачущие по сцене с микрофонами. Падающие на колени, кайфующие над ними, закатывающие глаза. Было ведь это. Было не раз. Сколько можно! Но – пошёл. Оказалось, – не концерт. Оказалось, – показ мод. Да один чёрт!

На высоком высвеченном помосте манекенщицы уже ходили. Ходили, – как не на шутку разгулявшиеся мумии. Прямо у ног чаровниц гнулся, ломался, долбил джазкок. Аккордеон огрызался. Как собака.

Все в первых рядах, толстые торгашки хмуро записывали в блокноты. Помечали. Казалось, на помост даже не смотрели. Не видели, что там происходит. Всё время ворочались в креслах. В тесных креслах. Так, наверное, ворочаются ночью капустные вилки, сдвинутые, столканные в кучу. Зрители тянулись из-за них, дышали им в уши, кашляли, хлопали над их ушами. Ничего не пропускали из действия на помосте.

А там всё менялось быстро, точно комбинационные стекляшки в калейдоскопе. Главная чаровница-модельница в тройке, строгой до невероятности, ловко перекидывая микрофонный шнур, кадрила зал, а её воспитанницы передвигались уже в обширных, легких, длинных одеждах, кружа как рукастые мельницы. Снизу пугал их кулисой тромбон. Норовил под плаття. А ударник вдруг начал страшно выпутываться из лошадиных вожжей, невесть кем на него накинутах. И зал заахал в ладоши.

Никулькова то хлопала, то отвешивала рот, то начинала покачивать головой или млела совсем. «Серёженька-а, какие пла-атья! Ска-зка-а!»

Иногда Серов чувствовал на себе её внимательный взгляд. Словно она падала с небес на землю. В такие мгновения ощущал шкурой, что не тянет на роль новоиспечённого супруга, жестоко не тянет. Ничего не может предложить, так сказать, Даме. Из увиденного ею. Ничего существенного.

В заключение выходили и уходили четверо в чёрном. Тощие. Плечистые как канделябры. Плели походку. Мумии. Евгения готова была рыдать. Джазкок вскочил – весь тарканый, вырывал апофеоз. Над всеми, будто пропадая, махался ямщик-ударник. Зрители стоя хлопали. А торгашки долго вылезали из кресел. Точно заработали жестокие радикулиты.

На улице, в выдутой голой февральской ночи Никулькова взяла мужа под руку, как добropорядочная супруга повезлась с ним в ногу. Серов смолил папиросу. Заветренная луна торчала вдали из небосвода точно идол в пустой ковыльной степи...

Расписывались 16-го декабря. Во Дворце Бракосочетания. (Когда предварительно приходили осенью, Серов в канцелярии стал требовать, чтобы 30-31-го. Под Новый год. Согласны ведь обождать. «Ишь ты! Один ты ушлый такой!» – сказали ему. У старухи аж голова со сделанной прической затряслась. Как сопливый кокон. «Кто она такая?» – изумлялся Серов, утаскиваемый Евгенией. «Да не знаю я! не знаю! тише!...»)

И когда в свой срок вошли, наконец, во вместительный зал Дворца, где и должна была произойти церемония, – Серов вздрогнул... Эта старуха с сопливой прической стояла с красной лентой через плечо. Стояла под гербом РСФСР! Серов чуть не повернул назад. Евгения, покоя свою руку на его руке, жсала её так, что Серов заулыбался всем как пытаемый китаец: насе вам! насе вам!

Все брачующиеся стояли в одну шеренгу. С выбитыми назад во вторую – очкастыми свидетелями. Десять пар. Женихи и невесты. Невесты в белом до пят: или в виде зачехлённых досок, или в виде габаритных снежных баб. Женихи в бостоновых, чёрных, с белыми грудками. Серов – необычно: в Офицерском квадратном пиджаке. Стального цвета. С плечами, как с турецкими диванами.

Распорядительница взяла в руки большую красную книгу. Как присягу. Оглядела строй. Откашлялась... «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик... перед лицом своих товарищей и подруг...» – Впрочем, Серов несколько опередил событие, слова были не совсем такими: «Дорогие друзья! Дорогие наши Молодые! От имени и по поручению нашего государства, нашего родного правительства...» Впрочем, тоже не совсем так. Серов проникновенно слушал. То одним ухом, то другим. Лицо – блаженно журчащая колодка всё того же китайца. Китайца-ходи. Хоросё, как хоросё! Ощутил резкий тычок в бок. Сбивший всё очарование. Эх-х!

Пары со свидетелями начали подходить к столу. На роспись. Добродушные женихи улыбались, расписываясь. Невесты с остатками беленькой девственности на голове в это время тянули шеи. Будто выдры. Сами скорей хватали ручку. А женихи всё улыбались. Точно выигранные фанты. У свидетелей перья скакали. Почему-то все свидетели были в пугливых очках. Точно со стеклянными визитными карточками. Только с такими. Других не было. А? Разве? Здесь? Поняла! Понял! Сейчас!

Тыкая пальцем в графу, Распорядительница под гербом смотрела вдаль. Подкрашенные губы ее являли собой прозекторский шов, а глаза – намастурбированную транквилизаторами красненькую зорьку всего человечества... Расписываясь, Серой ей улыбался. Из суеверия.

– А теперь, наши дорогие Молодые, оденьте, пожалуйста, друг другу обручальные кольца!

Женщины в сарафанах и с красными непомерными губами вынесли кольца. Все начали друг дружке углублённо надевать. Серову было только одно кольцо на подносе. Серов Никульковой почему-то никак не мог надеть его на палец. Насадил-таки! Как пацан, как выглядывая из подполья, очень хитро покрутил рукой. Для Распорядительницы. Мол, второго – нету. Студент! Не поймаете! Его цапнули за руку. За левую. В чём дело? Загремел марш Мендельсона. Все вытянулись, как на плацу. Серов полез целовать губы. Невеста не давалась. Мендельсон провалился. Серов отпрянул.

– Дорогие друзья! Торжественный церемониал бракосочетания окончен! Счастливой вам семейной жизни!

В буфете сарафанные женщины с непомерными губами уже разносили на столики бокалы. Серов подлетел, шмальнул в потолок, начал расхлёстывать. Пробежкой быстро тушил бокалы шампанским. Эх, ему бы в пожарники! Да ему бы в официанты! Бокалы были дружно подхвачены, бокалы завывзванивали над столом. Поздравляем! поздравляем! будьте счастливы! Хватив заморозки, вlepил поцелуй невесте в щёку. Никулькова растопырилась, облившись шампанским, замахала ручкой. Серёжа, что ты делаешь! Все стоя смеялись. Орёл! Офицер (родной дядя) оккупационно поглядывал на новую родню. В лице Григория Ивановича с городской головой и Марии Зиновьевны с обиженным обезьяньим бантиком на дряблой шейке. Остальные осторожно отцеживали, думая, что одна. Изучали в буфете интерьер, людей. Невесты вон, женихи. Всё те же сарафаны меж столиков ходят. Красно улыбаются. Будто резаные раны. Всё нормально... «В чём дело, товарищи? Отчего так скучно (пъём)?» Серов лупанул вторую пробку в потолок. Настоящий орёл!

Выводя группу из буфета как правительство, вытопыривал пятерню к фотографам: никаких снимков! никаких интервью! дома!

От Дворца уже раскатывали во все стороны на собственных с куклами на капотах, с невестами и женихами внутри. Лихо, юзом выносились на дорогу.

У Серова должны быть с кольцами. Казенные. Группка Серова уже приплясывала на выпавшем снежку. В штiblетках, в туфельках. Заказанных машин не было.

На площадь выкатило такси. Остановилось. Нетерпеливо засигналило. Серов подбежал, цепко оглядел ландо. «А где кольца?» «Дома, – ответили Серову. – Заказал в один конец – да ещё кольца ему... Поедешь, что ли?» – «Так ведь восемь нас!» Шофёр мотнул головой: сзади едет. И точно, сзади рулил ещё один. Рывками. Будто за шкирку дёргали его. Подтаскивали, значит. «У вас что, зубы у обоих болят?» Серов помахал. Расселись. Покатили. Без колец, без кукол.

Юбилейные Офицеровы часы щебетали на всех четырёх стенах комнаты, как гнезда с птицами. Некоторые вышагивали на месте с дисциплинированностью журавлей. Как в музее, закладывая руки назад, гости с почтением разглядывали дарственные надписи. Совсем не обращая внимания на стол. На длинный стол. По центру комнаты. Вернее, на два стола. Составленных вместе и, в общем-то, – ломящихся. Поросёнок на блюде. Два заливных. Буженина в трёх местах. Пять вскрытых банок шпрот. Ещё консервы. Без счёта. Копчёная колбаса. Сыры. Салаты, винегреты – с черпаками. Бутылки. Начальниками. Коллегия в министерстве. Фужеры. Как невесты в парче. Пойманные за одну ножку. Светленькая мелочь под водку. Понизу. Всё на белоснежнейшей скатерти... Кашковые цветы, как дартаньяны в шляпах... Гости не могли оторвать глаз от... от часов на стенах.

Вошли и сразу запотирали руки друзья Серова. Институтские. Халява! Грандиознейшая халява!..

А часы щебетали. Вышагивали. А выхода Молодых всё не было. И хозяева вроде бы куда-то пропали. Как быть? Что делать с закусками? С водками? Уже наблюдалось противостояние у стола. С двух его сторон. Отцы и дети.

Наконец Молодые вошли в залу (или зало?) в сопровождении Офицера и его Жены. Торжественных и скромных. Как и Молодые – под руку. Все захлопали. Затрещал страшный аплодисмент. Окружили. Суматошные пошли поздравления. Подарки – как коты в мешках: все завернуты. (А? Куда их? Сюда складывать? Хорошо! Спасибо!) Какие-то двоюродные бабки или тётки всасывались в лицо невесты, как насосы. Подолгу и молча держали свои ручкi-лодочки в ладони Серова, зная, что он мошенник. Зато друзья выбивали-выхлопывали из пиджака Серова нафталин от души. А Сапарова Светка (тайная воздыхательница Серова) даже пыталась что-то успеть сказать, прижимая к груди Скромный Подарок... но разом прослезилась. И прямо в очки.

Быстро рассаживались, мечась глазами по закускам, по выпивке. Под команды Офицера, уже стоящего с наполненной рюмкой во главе стола, быстро наливали и соседям, и себе. Накладывали, накидывали в тарелки. Вам шпротиков? Или колбаски? А вот заливного! С горчичкой! С хренком! И, полностью подготовленные, замерли. Честно обратив к Офицеру-тамаде лица. При этом сильно потянув шеи. Чтобы было незаметно, как проглатываешь слюну.

– Дорогие наши Молодые! – начал Офицер. Молодые встали. Невеста, понятно, была вся в белом. Голова Серова из гигантского пиджака Офицера торчала по-цыплячьи. (Цыпалёнок тоже хочет жить.) – Дорогие наши Женя и Серёжа! Позвольте мне по поручению нашей семьи... надеюсь и всех присутствующих (поворот наполненной рюмки сначала налево, затем направо)... поздравить вас с законным браком, с созданием новой крепкой советской семьи! – Бурные, но короткие аплодисменты. Некоторые было вскочили (с рюмками), но от жеста Офицеровой руки разом сели. – Дорогие Женя и Серёжа! В этот торжественный и незабываемый для вас день...» Дальше оратором были упомянуты: и «тернии и звезды семейной жизни», и «свет любви и взаимного уважения», и, конечно, «маленький», которого наши Молодые непременно найдут в капусте, хе-хе, а то и аистик принесет, хе-хе. Через год-другой. Хе-хе-хе. (Оживление в зале. Отдельные аплодисменты.) И ещё многое и многое другое было сказано

в напутствии. Так необходимом нашим Молодым. Да. Наши Молодые слушали. Невеста стояла как всё тот же фужер в парче. Только потупленный, опустивший глаза. Внимательному Серову предстояло сегодня пить из него весь вечер. В заключение Офицер сделал паузу и повернулся к Молодым. С большим бегемотовым ртом. Как с раскрывшимся государством. Явно ожидая чего-то от них. «Ну поцелуйтесь же-е! – не выдержав, заревел. – Дорогие вы мои-и!» Серов послушно быстро поцеловал Никулькову. И засветил к Офицеру улыбку. Улыбку всё того же незабвенного ходи. Все закричали «ура». Потом тянулись рюмками к Молодым, чокались, перезванивались меж собой и, рухнув, накинудись, наконец-то, на еду.

Грудастая крупная женщина вдруг завращала глазами как сирена «скорой помощи»: «Го-о-орько!» (Она из родни Офицера была.) И рубанула – коротко, вниз: «Горько!» И женщины разом закричали визгливо. И мужчины подхватили упрямыми басами, мотая головой: «Го-о-орько!» Герой встал – и Невеста сомлела в его объятии с круто взнятыми локтями. Кинематографическая классика! Ура-а! – орали все и разом сбрасывали внимание на стол. Работали. Челюстями, понятно. Наверстывали. Безотчётно стукались рюмками. Ага. Ваше! Спасибо! Словно судорожно думали о чём-то очень важном. И опять по какому-то точному временному наитию грудастая поехала и завращала большими глазами: «Го-о-орько!» И коротко рубила, как приказывала: «Горько! Горько! Горько!» (Это был профессионал.) И вновь визжали красные женщины, и басы гудели понизу непримиримо: «Го-о-орько-о!..»

Вскочила Сапарова и начала было читать стихи-обращение к Молодым, сочинённые коллективно, на курсе. Читать с тем усечённым серьёзным пафосом (скромная, знающая себе цену душа перед нами), с каким читают только учительницы литературы в школе, а также взращённые ими отличницы (одна обычно на класс, а то и на всю школу), но... но опять резко прослезилась, и опять прямо в очки. Да что же это такое! Все хлопали невероятно часто от этой эмоциональной встряски! Падали к еде, уже не совсем соображая, что перед ними.

В левом углу шумели, махались руками друзья Серова. Все институтские. Уже хвалились, отчаянно ввали друг дружке. И вечный аспирант Дружинин с белокурым своим чубом на сторону, и сантехник Колов (по совместительству вечерник), и Геннадий Трубочин с курса Серова, бывший в загсе с Сапаровой свидетелем, очкастый, мотыль. И ещё ребята... Явился даже Сашка Азанов с пожизненным своим пиджачным хвостиком колбаскового парня, у которого всё в обтяжку. Когда начались танцы, он потерянно бродил среди танцующих. Его толкали.

За вальсом следом задолбил фокстрот. И кавалеры шустро порулили своих дам, погнали кто куда. А женщина с большой грудью и какой-то мужчина бегали по комнате солистами. Точно быстро таскали небольшой стол. В обхватку. То в одну сторону бегут-тащат, то уже в другую. Им жутко хлопали. На бегу, не выпуская «стола», они поворачивали серьёзные лица к хлопающим, с достоинством кивали.

В какой-то момент свадьбы Серов вдруг увидел в левом углу застолья... свою Маму и своего нового, надо думать, Папу. (Неужели из Барановичей примотали?) Они появились там неизвестно когда. Можно сказать, по-английски. Только с обратным знаком. После целых семи лет отсутствия. (Во всяком случае, отсутствия Мамы.) Они сидели там, словно сон в дымящейся виньетке. Посреди реальной, махающейся руками гулянки. Они находились словно бы на Островке Бедных Родственников. Иногородные, никому не нужные и не известные. Забывали про еду, помня только про окружающих. Крашенные вздыбленные волосы Мамы напоминали уже прополотый и только что политый сад – просвечивали до кожи головы. Мама не узнавала сына. Маме уже стукнуло сорок пять. Новому Папе явно перевалило за шестьдесят. Он был с испуганным левым глазом. Как с извергом. Возле головы рукой всё время делал длинное ухо осли: А? Что? Что вы сказали? Нам повторить (выпить)? Не беспокойтесь! Мы пьём, мы едим!

Когда Серов с Трубчинным курили на площадке, появился этот Папа с глазом. «Привет, Папа! – сказал Серов. – Кого ищешь?» Папа провёл рукой по начёсу, как зебру на переходе сделал... и ушёл обратно. «Что за козёл? – спросил мотылёвый Трубчин. – Откуда?» Серов не смог внятно объяснить.

На другой день к вечеру Серов провожал мать с новым мужем в Кольцово. Была с ним в аэропорту и Евгения. Всё время почему-то исчезал, рыскал по вокзалу, что-то покупал им в полет, дёргал сотки, уходил курить, оставляя их втроем напряжённо молчать. Наконец объявили посадку. Материн старикан всё порывался что-то сказать Серову. Нутриевый мех шапки его торчал спицами. Несообразным, диким пучком. «Не переживай, Папа, – сказал ему Серов. – В самолете всё забудешь». Надолго обнял мать, точно запоминая. Мать в богатой шубе, в песцовой шапке беспомощно замерла, как распятая им, не зная, то ли заплакать ей, то ли не надо. Некогда ведь уже. Контрольная труба словно всасывала пассажиров. Мать и старикан боком пошли. Точно ожидая камня или палки. Всосались, запнувшись о порожек. Исчезли.

В несущемся из аэропорта автобусе сгорал закат. На фоне опущенного лица Серова ост-ровершие крыши домов поселка пролетали как чёрные надолбы. Евгения лепилась к Серову, брала под руку. Серов косился на непонятно откуда взявшуюся эту девицу в белой кроличьей шапке, с белыми опушками по вороту и рукавам пальто.

Однако через час, уже в доме Никульковых, с готовностью вскакивал под крики «горько», целовал невесту, как куклу. (У невесты, как у куклы, когда её наклонишь, западали глаза.) Почти ничего не пил, крутил только на столе парчовый фужер за ножку. Обнявшиеся два свата тыкались лбами. «Я дал ему всё!» – говорил Офицер. Гороховый лоб дядя Гриши был крепче: «Нет, я дал ему всё! Не спорь!» И опять, как полгода назад, сидели за столом две сестры и, словно не видя, не слыша ничего вокруг, нескончаемо, печально-радостно смотрели на Серова своими голубыми глазами в начернённых длинных ресницах, как невиноватыми ночными бабочками, одинаково взяв лица свои в ладоши... Трезвейший круглоголовый дядя Никульковой в перерывах между своими удивительными познавательными рефератиками соседям и короткими, очень экономными улыбками им же... вдруг вставал и трескуче резко шарахал пьяных экзальтирующей фотовспышкой. И пьяные в изумлении отвешивали рты, затем поправляли галстуки, думая, что сейчас вылетит птичка...

При прощании друзья совали в Серова большие застенчивые кулаки. Как будто тренеры бокса они. Норовили в скулу. Молоток. Держись. А мы за тебя горой. Ты знаешь. От выпитого все были красноносы...

Глубокой ночью, после мучительного, жалеющего, жестокого совокупления никакой крови на простыне не было. Евгения копалась, испуганно искала под собой, рядом, включив лампу.

Лежал безучастно, голый, закинув руки на затылок. «Ты что же, думаешь, что я...» Серов молчал. «О чём ты думаешь?!» – «Не об этом! Успокойся!» Серов опять будто впервые увидел эту растерянную деваху в белой рубашке. Вскочил. По-прежнему голый, не стесняясь этого, курил в форточку. Луна безобразно курила вместе с Серовым. Потом одел леопардовые трусы, пошёл в столовую, чтобы добыть спиртного.

Через неделю ему не без ехидства была сунута какая-то бумажка. Справка. Не понял сперва. Прочёл... И в который раз уже не узнавал в этой молодой, самодовольно покачивающейся женщине с засунутыми в карманы халата руками... свою жену... «И не стыдно?.. На стену вон повесь. Чтоб видели. Под стекло. Как диплом...»

Гордящаяся собой Никулькова сворачивала справку.

Потом сняла халат, стала одеваться. Для улицы. Для института. Мелькали груди. Как будто назревшие рожки оленихи. Как опиленные. Панты. «Не смотри», – спокойно, гордо было сказано Серову. «Так отвернись! Или уйди! Или – некуда?..» Чуть не плача, зажав груди, как

растерзанную капусту, Евгения ринулась в спальню. «Дурак!» Серов возмутился: «не смотри», хм, «дурак»!

В трамвае ёжился на сидении, смотрел в окно. «Мы купим тебе шапку», – сказала Никулькова, белопушистая вся, прижимающаяся к Серову, как кошка. Серов внимательно посмотрел. «Кто это мы?..» Снова отвернулся к окну. За окном на морозе завывлясывал козлик-революционер на пьедестале. Тоже, видать, проняло беднягу. На Серове была шапка с ушками. Кожаная. Тонкая. Засаленная. Оporок не опорок. Не поймёшь.

Медовый месяц явно не задавался. В нищенской своей одежонке Серов мёрз на борзом ветру. Это перед институтом. А в самом институте, в перерывах, ходил, точно боясь встретить Никулькову. Да и вообще кого-нибудь из знакомых. Чуть что нырял в курилку, единясь там с дымом в темном углу. Или вообще убуривал по коридору. С Офицеровым пиджаком, будто с распахнутой уборной с огорода. «Серов, ты куда?» – «Сейчас». Жена тоже искала мужа. Серова нигде не было. Никто не видел. На общих лекциях прокрадывался к амфитеатру, когда уже бурлил за кафедрой доцентский кипятильник марксизма-ленинизма. «Ты где был?!» – спрашивала Евгения. «Как где?!» – очень удивлялся Серов.

### 3. Пряные цветы Востока

Даже когда Кропин после двух пересадок подъезжал, наконец, к своему пункту Б и сидел с приготовленным уже чемоданом, поглядывая в окно, даже в этот ответственный момент... старикашка опять резко распахнул дверь купе. Опять пьяный! Он деревянно шагнул мимо жены-старухи и Кропина, резко развернулся и, как это делают аквалангисты в ластах, – спиной кувыркнулся на нижнюю полку. И сразу страшно зажмурился. С раскрытым ротиком. Как будто в кресле у дантиста. Как будто изготавившись страдать... И это так часто повторялось – Кропин сбился считать. От самого Барнаула. Где на станции старик влез с женой в это купе. И начал бегать в вагон-ресторан каждые полчаса, час...

Старуха жаловалась, что пропивает наследство. Продал дом умершего брата. Так отбери деньги! – не выдерживал Кропин. Нельзя-а, – тянула старуха. – Хозяин. Столяр-краснодеревщик. Так пропьёт ведь! Или сам умрёт! Разве можно так пить? В таком возрасте?! Да уж, соглашались с ним. Старуха была опрятна, сдобна. Оттопыривая мизинчики, оглаживала свои оборочки на опрятной кофточке.

Появилась река. Наверняка большая. Сжатая устьем гор. Поезд стал замедлять ход. И остановился. По большой дуге – поезд точно застрял в висящем параллелограмме моста. Что это за река? Иртыш, сказал кто-то из коридора... Иртыш... Так же, как в Омске... Это какой протяжённости дугу нужно было проделать поезду (во сколько тысяч километров!), чтобы снова выехать к этой реке и замкнуть её (дугу) на этом высоко висящем мосту?.. На противоположной стороне вдоль скал по дороге сновали машины. Дальше, правее, в зелени на горе тонули пяти-и-девятиэтажки...

Потихоньку тронулись. Внизу у насыпи, в сырых ещё, по-утреннему отпаривающих огородах грели под солнцем крыши частные дома. Старуха-мусульманка в белом платке шла к будке на огороде. Кунган побалтывался в тощей руке как солнце на верёвке... С моста вода в Иртыше казалась зеленоватой, не глиняной, как в Омске. Тяжёлым зелёным кораблём уходил вверх по реке вытянутый остров.

На станции Кропина никто не встретил. А ведь была дана телеграмма из Барнаула. Давно разошлись пассажиры с поезда, давно ушёл сам поезд, а Кропин всё ходил вокруг чемодана, сверяя досаду свою с часами на руке. Вокзал повыше от перрона был обыкновенным. Одноэтажным, серым, без выкрутасов. Пойти, что ли, туда? Там ещё обождать?

На первый путь подошёл пригородный поезд. Растопыриваясь ревматическими ножками, спускались на перрон дачницы-пенсионерки. Однако на асфальте сразу начинали бодрить себя, подхватывать ведра, рюкзаки. По перрону потом спешили, чуть не бежали. Помидорками тряслись их спекшиеся личики. У не отстающих мужей их от тяжелых корзин лица были серьёзны, натянуты как жгуты. Всё людское поголовье торопливо колыхалось к лестнице, к переходному мосту...

Кропин поднял чемодан, тоже пошёл за всеми. Адрес Левиных у него был. Улица Тохтарова. Ориентир – парк имени Кирова. Где-то в центре.

В переполненном трамвае Кропин ехал через весь город. С обеих сторон проплывали дома, в общем-то, обыкновенные, все те жё пяти-и-девятиэтажки; из дворов лезла на улицу зелень; многолюдно было на остановках, возле магазинов. Какой-то парк с аттракционами, где болтали крохотных людей гигантские осьминоги и выстреливали резко в небо катапульты тоже с мелкими людьми. Дальше кинотеатр «Титан» – как какая-то башка циклопа домиком. Снова пятиэтажки. Обилие цветов по газонам и скверам, где от машин-поливалонок бесконечно нарождались, бежали радуги... Сначала Кропин стоял, потом ему уступили место, и с чемоданом на

коленях он неотрывно смотрел в окно, как смотрел бы всякий нормальный человек, прибывший в незнакомый город.

Улицу Тохтарова нашёл быстро. Короткая была улица, тихая, действительно упиралась в парк. (Кропин проехал лишнюю остановку и проник на улицу с другой стороны, с конца.) Прошёл несколько домов, почему-то очень тихое и скромное здание Госбанка (ни одной машины рядом, впрочем – суббота же!) и увидел три одинаковых одноэтажных дома. Три номенклатурных особняка – с высокими заборами, с телевизионными антеннами на крышах, с железными глухими воротами в кованных крупных звездах. Сразу понял, что дошёл, что здесь. Возле первого дома, на лавочке, как натуральный русский, сидел старик-казах. Однако, как и положено казаху, скоблил на домбре. Длинная обвязанная ладами палка домбры походила на висящий переходной мост над пропастью. Вправо-влево – погибнешь! Только прямой дорогой! Казахской! Поздоровавшись, Кропин спросил про искомый дом. Старик прервал игру, выставил перед собой левый глаз. Обстоятельный. Сродни алтыну. И указал на последний дом. Поблагодарив, Кропин пошёл.

– Телеграмма... – вдруг сказал казах. – На вокзал все поехал...

– Ну правильно, телеграмму я давал, – приостановился Кропин, ожидая объяснений. Но старик опять заскоблил. Вдобавок закатился Кропину песней: «Иа-а-а-ай-ия-ия-а-а!»

Кропин нажал, наконец, кнопку звонка на кованных воротах. Долго никого не было. Ещё давил... Таращился на кованные звёзды...

– Товарищ Кропин, по-видимому... С приездом. Проходите... – Худая блеклая женщина отступала от калитки, уводя приглашающую руку и взгляд за собой, и с чемоданом Кропин пошёл за ней по обширному двору. Больше – саду. На тонких высоких стеблях какие-то цветы. Точно бархатные бабочки. Ромашки повисли в воздухе. Казались намалёванным снегом. Ещё какие-то высокие узластые цветы. Здесь же – стрелчатые цветы, кудрявые как флейты. Всюду почему-то пьяные склонившиеся подсолнухи с жёлтыми толстыми затылками. Женщина изредка полуоборачивалась и поматывала Кропину формальной, равнодушной рукой. Кропин задевал какие-то деревья, вроде лимонных. Обошел две яблони с красными яблоками, чуть было не цапнув одно. У крыльца появился и заюлил перед Кропиным толстошёрстный пуделёк. Как бы представляясь. Было в нем что-то от толстой мягкой щетки. Им хотелось обмахнуть туфли. Кропин представил лицо сопровождающей, если бы он проделал это. Кобелька звали Боней. Бонифацием. Сопровождающая смотрела в сторону, пока старик ласкал собаку...

В ожидании уехавших (на вокзал), вежливо сидели у стола на большой веранде. Словно дальше не приглашаемый, чемодан остался стоять у самой двери, на выходе. Кропину предложили отведать груш. Крупные переспелые груши в синей волнистой вазе были как свиньи. Кропин не решился взять ни одну из них. Тогда ему коротко объяснили, что в телеграмме он допустил ошибку. Дал неправильный номер дома. Нужно было написать не 25-ый, а 21-ый! Поэтому телеграмма попала к казахам, через дом, ну а те – сами знаете. Кропин хотя и не знал про «сами знаете», однако согласно кивнул. Из дома явно слышались голоса, но никто не выходил. Кропин осторожно спросил про Маргариту Ивановну. Здесь ли она, в доме, или в больнице?..

– Маргарита Ивановна умерла, – ошарашили его. – Месяц назад. 23-го июля.

Та-ак. Отмучилась, значит, бедняжка. Сочувствую. Искренне сочувствую. Жаль. А он-то, выходит, зря ехал сюда. Его не стали разубеждать.

Опять вежливо молчали. От услышанного старик чувствовал, что поднимается давление. Женщина тоже была бледна. Но постоянной, по-видимому, бледностью астенички. Несмотря на уже ощутимое утреннее тепло, – женщина была в шерстяной серой кофте. Руки её прятались в рукава кофты, как мыши. Равнодушием, бесцветностью своей – она Кропина уже раздражала. От раздёрнутых и затянутых за уши волос темя её походило на изломанный чертёж.

Кропину стало невмоготу. Кропин попросился на двор. Не в смысле этого самого. А в смысле погулять пока там, подышать свежим воздухом. Посмотреть цветы, хе-хе.

– Хорошо. Погуляйте, – разрешили ему. – В случае чего – я в доме... Я дочь Маргариты Ивановны... – Женщина помедлила, как бы оценивая Кропина: – Вероника Витальевна Калюжная...

Кропин разинул рот. Однако! Такой поворот сюжета! Выходит, дочь, родная дочь Витальки-шустряка! Когда же он успел? Неужели с неродившимся ребёнком законопатил Левину в лагерь?! Вот да-а. Кропин плюхнулся обратно на стул. Тем более что дочь Калюжного уже ушла. Однако ему не дали очухаться. С другого конца веранды, прямо на него, шла другая женщина. Женщина – в чём мать родила! Точно! Только полотенце на плече! Кропин чуть не упал со стула. Однако женщина прошла мимо. Не поздоровавшись! Ничего не сказав! Тяжелая сзади, как глина. Как озол! Да что же это такое! Публичный дом тут у них, что ли? Сердце в груди ухало, лупило.

С чемоданом Кропин ломился сквозь сад. Собачонок Бонифаций бежал рядом, подпрыгивал, играл. Однако было поздно удирать. От калитки к нему спешили люди. Во главе с самой Елизаветой Ивановной. Кропина окружили, повернули, безоговорочно повели назад. Были тут сын и дочь Елизаветы Ивановны, чьи-то жены, мужья, ещё кто-то. Собачонка будто подавали ногой – летал как футбол. У крыльца встречающие разом расступились. И, как доверенное лицо их, к груди Кропина припала Елизавета Ивановна. Сорочка Кропина сразу стала заметно намочать. Бедная Маргарита! Бедная! Не дождалась вас, Дмитрий Алексеевич! Кропин тоже зашмыгал носом. Все свесили головы. (Бонифация куда-то упнули.) Однако скорбная минута кончилась, и Кропина потащили в дом. Он победно поглядывал на Веронику Калюжную, которая вышла всё же на крыльцо. Стояла и запрыгивала в рукава свои мышиные лапки.

Кропину нужно было звонить в Москву Саше Новосёлову, чтобы тот срочно, телеграфом, выслал денег. Причём звонить конфиденциально, с почты, с переговорного пункта, который нужно ещё найти... Когда получит деньги так же быстро купить обратный билет (Кропин хотел уехать на другой же день). И ещё... Да мало ли чего ещё нужно было сделать Кропину! В конце концов разобраться с бумагами Левиной! На это ведь тоже нужно время. Однако его сразу усадили за стол, завтракать. Усадили одного, в доме. В большущей комнате. Можно сказать, в зале, с громадной люстрой над столом. (Вообще, сколько в этом доме комнат? Идя за всеми длинным коридором, – Кропин сосчитать не смог.) Дмитрий Алексеевич давился какой-то едой, торопливо докладывал Елизавете Ивановне, что крышки для консервирования купил, привёз. Елизавета Ивановна, сидящая охранницей рядом, в смущении и в восхищении одновременно всплескивала руками. Остальные с умилением смотрели. Опять же, сколько в этом доме людей? Люди у стола всё время менялись – одни уходили куда-то, зато приходили другие и вставали на их места. Елизавета Ивановна каждого представляла. Сутуло, как крокодил, Кропин вскакивал. Точно давился бараном. Отдавал правую руку. Снова падал на стул. Знакомиться начали выводить детей. По одному и группками. Кропин и им кивал. Ёлочке (Эле, внучке Елизаветы Ивановны) успел даже сделать кривое дуло. В смысле, улыбку. Люстра грозилась сорваться. Прямо Кропину на голову. Размером была с хороший куст винограда. Старался не смотреть. Пригibasя, орудовал вилкой. Точно стремился наесться до гибели. У него деликатно спросили, взял ли он с собой купальные принадлежности, плавки. Это ещё зачем? – вскинул бровь пенсионер. Сейчас мы повезём вас в «Голубой залив», будем все там отдыхать и купаться. Всё было predetermined заранее. Сопrotивляться, протестовать бесполезно. Уже через десять минут на двух «Волгах» – поехали. С детьми из окон и лающим Бонифацем.

На кладбище, куда Кропина посчитали обязательным завезти... он совершенно не узнал Маргариту Левину. С фотографии на стеле смотрела совсем незнакомая худая женщина. И

самое главное – с кудрями как табун. Глаз не видеть! Да Левина ли это вообще? Вернее, та ли это Левина, с которой он работал до войны? У той же были прямые волосы? Причём в очень скромном виде на голове? А эта-то! Туда ли он попал?.. Парик. Всего лишь парик, Дмитрий Алексеевич. Последняя фотография. Почти облысела от облучений. Не мудрено не узнать... Елизавета Ивановна опять заплакала. Кропин положил свою граблю на подрагивающее её плечо. Точно соединился клеммой с плачущим аккумулятором. Смотрел на высокий высей берёз, задрал голову, полнясь слезами...

Пошли в печали с кладбища наружу, к машинам. Справа, с пологого бугра, тянулась в небо церковь. Вверху на занудном ветру потихоньку удерживали иссыхающий цинковый свет цинковые крестики её... В этой церкви бедную Маргариту и отпевали. Елизавета Ивановна опять стала сморкаться в платок. Она ведь верить стала в конце. Так были против все! Чтoб отпевать! И Вероника, и муж Николай, и сын Сашка, и мои детки туда же! Я настояла, я!.. Так курили на воздухе! Ни один внутрь не зашёл! Верите?.. Партийные. Вон они – спешат...

Впереди, чтоб быстрее смотаться с кладбища, тесно катился почти весь семейный клан умершей Левиной. Как с поводков бобики, рвались на стороны дети. Кропин пожалел свою спутницу. Смотрел на неё с сочувствием. Однако это не помешало ему сжимать зубы в машине. Уже на ходу. Бедро... бедро Елизаветы опять липло к нему. Липло будто лапа! Кропин старался отодвинуться, ужаться. Однако с другой стороны сын Елизаветы ноги держал вольно, раздвинуто. Точно имел грыжу. Или я... слона. Вдобавок Ёлочка, крупный упитанный ребёнок, с колен бабушки постоянно кидалась Кропину на грудь, вытягивала ручонку к окну: а вот мелькомбинат! А вон мост! А вон гора!..

Пресловутый «Голубой залив», о котором Кропину по дороге прожужжали уши, упал в гигантский полуцирк из гор и лесов по нему. Размерами впечатлял: противоположный берег еле угадывался вдаль, а пансионатики по цирку справа казались детскими кубиками и спичечными коробками... Пологой дорогой стали спускаться вниз, и Кропин подумал, что сразу на пляж, однако не тут-то было! – его повезли в «домик». «Сначала в домик, дорогой Дмитрий Алексеевич, в домик, а уж потом на пляж». Длинными террасами машины снова пошли забираться вверх, теперь уже мимо хвойных и берёзовых лесов, перелесков, мимо пансионатов с фонтанами и млеющими в шезлонгах отдыхающими, мимо каких-то забегаловок вдоль дороги с пивными бочками при них. Постепенно всё это осталось позади, минут десять ехали как в пустоте, выбираясь почти на самый верх горы. К «домику», как опять сказали Кропину.

И увидел Кропин! Сосны были почти в пояс «домику»! Он стоял передней частью на сваях, казался трёхэтажным, победно скалился Кропину пастями двух уже раскрытых гаражей!.. Кропин тоже раскрыл рот. Все смеялись. Номер с «домиком» был, видимо, постоянным. Показывался не в первый раз. Как и положено, возле домика метался обязательный Перфилич. Оказавшийся бельмастым бородатым кержаком из ближней деревни, всё лето живущий при домике в сторожке, как пёс в будке. Кропин подержал его руку, будто сваю.

После второго завтрака за столом под берёзой, у пустого пока что мангала, отправились, наконец, на пляж Пионерский. Скрывая купальники, женщины усаживались в машину в легких летучих халатах, мужчины лезли в плавках, дети тоже, Кропин как был – в брюках и рубашке с коротким рукавом. Чуть не забыли прыгающего в высокой траве за бабочками Бонифация. Однако прибежал. Влетел в машину с разгону. Бомбочкой. Сразу тронулись. При доме остался, понятное дело, Перфилич.

В машине, спускаясь всё той же дорогой, Кропин даже забыл про «бедро». Ставший как-то значительно крупнее всех, как идол, он сидел заторможенный, с большими пустыми глазами... Это сколько же стоит этот домик на сваях с двумя гаражами и перфиличами? С шестью спальнями внутри... с кухней... с сауной... с бильярдной... с громадной столовой, откуда был выход на открытую веранду, где он, Кропин, даже постоял, раскинув руки по перилам, и взгля-

дом попытался охватить раскинувшийся перед ним пейзаж размером во весь мир?.. Вот так Левина Маргарита... Где же она работала? Вроде бы в райкоме. Или – в обкоме?.. Кропин внезапно вспомнил – она была Начальницей Торговли Всей Области... Об этом же ему ещё в Москве сказали, с гордостью сказали. И была – более двадцати лет!.. Господи! Чему тут удивляться? Вот дурень-то, честное слово! Громадный особняк в городе, «домик» у воды в горах, две «Волги»... да две ли? Гаражи!.. И это только на поверхности. Вот Левина-а... С другой стороны – как будут делить? Кропин поворачивал голову к весёлым наследникам. Как?..

Сколоченные из досок, прочерневшие от времени будки для переодевания – понизу проматривались. Имели вид загонов. Изредка там падали на песок мужские брюки или из трусиков переступали ноги женщин... Кропин благополучно переделся. Вернее, разделся и надел только плавки.

Однако на самом пляже, на так называемом «Пионерском»... Кропин не знал куда смотреть. Кругом ходили по песку коричневые пляжницы почти в чем мать родила. Уже не в купальниках, не в трусиках даже, нет, уже в каких-то взрезях. И спереди, и сзади... Груды из кошелёй на веревочках – натурально вываливались... Это всё девицы. А уж у мамаш, таскавших за собой капризных детей, – груды мотались как торбы... Чёрт знает что! Совсем, оказывается, отстал от жизни Кропин!

Он согбенно сидел среди семейства Левиных, охватив колени. И, походило, собрался сидеть так вечно. Ни о какой воде, ни о каком плавании и речи не шло. «Вы бы искупались, Дмитрий Алексеевич. Жарко ведь! Да и обгорите!» Платок у Елизаветы Ивановны был повязан лихо, по-пиратски... Сейчас, сказал Кропин.

Страшно, как лопастной, подбитый наконец-то вертолёт, Кропин носился вдоль берега по мелководью. Его тащило то в одну сторону, то уже в другую. «Лопастями» всюду расшугивал пузатую мелочь. (Что он делает?! Да он же с ума сошёл!) На берег выскочил, как из ледяной воды – минуты не прошло. (Вот это лопастно-ой!) Плавки были явно велики ему. Длинный детский сачок истекал на песок водою. В сачке еле угадывалась пойманная, можно сказать, Кропиным рыбка. Мягко, но сильно, как молодой, Кропин припал на песок грудью. Рядом с голыми брюквами Елизаветы Ивановны. Как молодая, Елизавета Ивановна откинула лицо к солнцу, упершись в песок руками. Вы хорошо плаваете, Дмитрий Алексеевич. Очень хорошо. В чёрном плотном купальнике Елизавета Ивановна походила на очень крупную речную ракушку. Старых таких ракушек тут тоже хватало. Кругом или ракушки эти, или молодые взрезы. Другим тут нечего было делать. Это уж точно. Кропин старался смотреть по воде вдаль. Солнце трубило в залив вовсю. Будто китята с ездоками на горбах, носились, фонтанировали водные скутеры. Макались меж них головёнки купающихся. Вдали завис алый парус яхты. И, завершая пейзаж, ставя в нём жирную точку, картинно стоял на громадном валуне парень с торсом, завязав жопку узелком. Этаким капитан Грей без штанов.

Постоянно месили песок перед носом Кропина толстопятые пивники с ёмкостями. Ёлочка, та самая тихая Ёлочка (это в Москве) и её два братёныша всё время прущкали ему на темя водой из большой клизмы. Со смехом убегали. Чтобы побыть хоть минуту одному, Кропин, извинившись, двинулся к лесу, который начинался метрах в пятидесяти от берега. («Ну вот, Ёлочка! Обидели дедушку Митю!») Солнце било в лоб. За кустарниковым подлеском, как в алтаре, горело в знойном иссыхающем сосняке. Вдруг точно понизу кто-то в лесу пролез. Испуганными метёлками промотались сосны. Снова. С другой стороны. И опять как от пролезающего кого-то затрепались верхушки сосен. И знойная тишина вновь упала в лес. Как будто ничего и не было только что... Кропин знал, что возле большой воды по берегам могут возникать такие явления. Видел подобное даже в Подмоскowie. Неизвестно откуда в небольшом, ограниченном месте на удивление всем вдруг вылезали такие ветры-дуроломы. Точно

из земли. Точно из могил Вавилы. С дикой силой своей. И бедокурили по берегам в лесах. И вновь – как в землю уходили... Кропин, постояв, повернул назад.

Бесштанного капитана Грея на валуне уже не было. Вместо него валун густо облепили рыбаки. С длинными удилищами, – как усатые тараканы. Тесно махались удилищами вверх, точно думали только о том, как спихнуть лишних в воду... Кропин присел на одеяло возле своих. В голове пошумливало. Кропин чувствовал, что перегрелся. Солнце было как палач. У Кропина явно поднялось давление. Он был опять среди полуголых людей, опять среди надоедливых ребяташек. Всё так же месили песок полуголые девки, откидывая пятки назад, будто мочёные яблоки. У него что-то спрашивали. Он не слышал, не понимал. «Как правильно – «секс» или «сэкс», – спросил вдруг глухо. «Что, что вы сказали?» Ему заглядывали в глаза. Глаза старика роднились уже с круглыми антеннками марсианина. Словно бы синие нарождали всюду круги. «Что, что он спросил?» Не обращайтесь внимания. Не надо. Ничего. Это. Как его? Я – так. Пора нам, наверное. Жарко. К машине надо. К машинам. Лучше. Все сразу завозились, поднимаясь. Кропин пытался сворачивать одеяло. Кривоногий, тощий. В седых волосках по груди и плечам – как облезлый какой-то одуван. Или обдуван. «Искупайтесь ещё! На дорожку!» Однако старик норовил уже в будку. С брюками уже, с сандалиями.

Кропин прыгал на одной ноге, надевал носок. «Вы, наверное, перегрелись, Дмитрий Алексеевич?» – с беспокойством спрашивали у стриженной под барашка, раскардашной головы, прыгающей по верху будки, как в кукольном театре. «Зачем повезли его на пляж? Кто придумал? Старика же явно не по себе! Ведите его к машинам! Да побыстрее!» И его уже вели, заботливо окружая.

– Ничего, ничего. Я – в порядке. В порядке, – деревянно говорил старик.  
В полном порядке! Они меня добьют. Домой я – не доеду...

Ночевал Кропин в «домике». В персональной спальне. Итальянские простыни были шершавы, точно в занозах. Всю ночь нарывались из тьмы и наглухо прятались во тьму хоры. Хора. Честный Перфилич бежал, разгонял, ухал филином.

Утром в сопровождении Елизаветы Ивановны Кропина увезли в город.

Только после того, как позвонил в Москву Новосёлову (звонил с переговорного) и договорился о деньгах, вернулся в дом на Тохтарова. Получил от Вероники Калюжной папку С Документами. Засел над ними в кабинете Левиной.

Доносов было семнадцать. Отсылаемых Калюжным регулярно, каждый месяц. В каждом доносе по две-три страницы, отпечатанных на машинке. Сейчас раздельно взятых в скрепки. Глядя на выцветшие листки, избитые мелким неровным кеглем, Кропин никак не мог сначала понять, как Маргарита сумела достать эти бумаги. Как к ней они попали. Ведь Калюжный отсылал их с подписями, с датами. Не из Органов же они оказались у Левиной... Вдруг понял: да ведь это всё вторые экземпляры! Хитрюга Левина закладывала в каретку по два листа! С копиркой! Один (первый) Калюжному, второй (слепой) для себя! Утаивала от Витальки! Воровала! Самодовольный болван разгуливал по своей квартире руки за спину, диктовал, а скромненькая верная любовница знай пощёлкивала на машинке да на ус мотала. Как говорится, один пишем, два в уме. Вот так любовнички! Один упёк беременную подругу в лагеря (пусть там рождает, стерва!), а другая крепко запомнила всё. Да вот теперь и ужалит, отомстит!.. Правда, уже не своими руками...

Кропин всё перекладывал и перекладывал бумаги на столе. Точно душа его, душа въедливого канцеляриста, не терпела непорядка в них... Перед тем, как начать читать, в последний раз пустил взгляд по кабинету Левиной. По бывшему её кабинету.

В притемнённой комнате было, собственно, пусто. Из неё почти всё вынесли. Её явно подготовили уже для чего-то другого... Как прощаясь, утекали к скудному свету окна неснятые со стены фотографии под стеклом... Да-а, Левина... Бедняга...

Однако нужно приступить. Тем более что за дверью ждали, что-то бубнили, точно уже сердились на Кропина. Сердились, что он медлит...

Через десять минут Кропин дышал как насос, тарашась вверх на усы, оставшиеся от оборванной люстры. Сил вернуть глаза на стол, на бумаги не было... Лучше повеситься ему сейчас там наверху, просто повеситься!..

Заставив себя прочитать всё... Троцкистский Подпевала Кропин вышел из кабинета Левиной. Лицо его пылало. Мне нужно побыть одному, сразу заявил ожидающим, отдавая папку. Извините. Поговорим потом. Глаза его не находили места, выкатывались как у коня. Я – в город!

Он шёл по парку. Но ничего не видел вокруг. Голова его словно была утыкана иголками. Как на глубинной психотерапии. Иголками с флажками: Шестёрка Кочерги!.. Скрытый Педераст!.. Любовник Кочерги Зинаиды! (это после «педераста»!)... Он И Зельгин!.. Полные Разложенцы!.. Пьянки!.. Карты!.. Был Связан С Ленинградской Группой!.. Разбил Бюст Товарища Сталина!.. Но не опасен!!! Легко нейтрализуем!.. Может быть использован!..

Кропину не хватало воздуха. Он плюхнулся на скамью, хватаясь за грудь. Нет, домой он не доедет. Это точно. Кропин оказался прямо напротив пьедестала с несостоявшимся вождем из Ленинграда. Бронзовый вождь простирал руку над бывшим своим «соратником». Как осеня его, как благословляя. Однако старик не видел этого, не понимал. Старик выхватывал белый платок и сдёргивал слезы. Точно торопливо устранял открывшуюся на лице течь. Господи, как могут ранить слова! Как могут ранить паскудные словёнки! Какая грязь! Педераст! Пьяница! Бабник! Какая гадость! Ведь это читали люди. Чужие люди. Ведь это читали... все Левины!.. Господи-и! Зачем он приехал сюда! Зачем он, старый осел, влез во всю эту грязь!.. Старик уже горько плакал, жгуче жалел и себя, и весь мир... Какой-то карапуз на велосипеде, подъехав, качал себя педалями на месте. Перед карапузом уливался слезами старый крокодиль Гена... Карапуз умчался к матери...

Сколько горевал Кропин в парке, он не помнил. Его трогали за плечо, о чём-то спрашивали, потом уходили. В какой-то момент, перестав плакать, он крепко задумался. Как вошёл в ступор, в туман. И вдруг уснул. Обморочно. Разом. Запрокинув голову и раскрыв рот. «Ну вот, пожалуйста! Старый человек! Напился с утра!» Две женщины пожилого строгого вида обходили выкинутую на дорожку ногу, как оглоблю. «Срам! Честное слово!» Женщины всё оборачивались. На подрагивающих бледных ножках слегка задравшиеся крепдешинчики у них потрясывались, точно осыпались песочком...

Кропин пришёл в себя только на почте, когда получал Саши Новосёлова перевод. Однако внутренняя дрожь не проходила. Накатывала. Позвоночник ощущался растопыренной ёлкой, дрожащей всеми своими игрушками. Сильно дрожала и рука, когда заполнял бланк. С обмакнутым пером натурально выделявала кренделя. Как алкашу, её нужно было привязывать к шее. Эко её! – глядя на руку, удивлялся сосед за измазанным чернилами почтовым столом. Со своим пером в руке – как прилежный ученик. С похмелья, что ли, дед? Кое-как заполнил.

В городской железнодорожной кассе надеялся на вечерний какой-нибудь поезд. Но – нет. Только завтра. Утром. В девять. Пришлось взять...

Дрожь внутри прошла, однако душу саднило. Набегали слёзы. Чтобы как-то оттянуть возвращение, чтобы не идти в дом на Тохтарова... кружил по городу. В основном в центре. Садился в трамвай, ехал, снова выходил...

Шёл вдоль сквозящей ограды какого-то парка (не кировского). Ударяемые сквозь ветви солнцем, пристоупали нескончаемые цветники. На широкой улице смотрел в небо кино-

театр с закинувшимся стеклом. Чёрные и мокрые, как лягушки, прыгали в фонтанчике ребятишки. Здесь тоже было полно цветов. Каких-то белых и очень крупных. Стоящих обезумевшим на жару хлопком. Ещё цветы – как высеянный ураган. Как сплошные веснушки по клумбе. Однако немало в этом городе цветов. Присел на одну из скамей тут же, у кинотеатра.

И тоже как цветы шли мимо девушки. В летних легких платьях – точно в поджигаемых солнцем тюльпанах. Вспыхивали, обугливались и снова нарождались девичьи стройные ноги. Старуха с соседней лавки внимательно смотрела поверх очков... Сама попробовала встать, чтобы идти. Оттолкнулась от скамьи, взяв сумку. Повезла творожные рябые ноги... Кропин смотрел, потом тоже поднялся. Спотыкаясь, пошёл.

И только на улице Пролетарской к Кропину наконец-то вернулись его глаза пожизненного любознательного ротозея.

Зелёные и тяжёлые, везде над дорогой стояли тучи тополей. Город этот тонул в цветах и зелени буквально! Здесь же, на Пролетарской, долго смотрел на необычную девятиэтажку. Гипсовые лоджии её были проточены национальным орнаментом. Без разрыва орнамент струился по всем этажам подобно бороде правоверного мусульманина. Под «бородой» курили две казашки в мини-юбках. Скуластые как инопланетянки. Сигареты удерживали в пальцах независимо, фасонисто. К Кропину повернулись насурьмлённые глаза. «Ну, чего уставился? Старый козёл?» Кропин пошёл, как пошёл бы китаец на приподнятых каблуках – слегка подплясывая. Он догадался, откуда были эти девицы. Гостиница неподалеку протянулась как их картотека.

Неожиданно вывернул к переговорному пункту, где был уже утром. Как истукан, сидел с талоном в руках. Включены были только уши. Освобождаясь от всего, радостно кричал на весь переговорный пункт: «Яков Иванович! Дорогой! Здравствуй! Как ты там! Как здоровье! У меня всё в порядке! Завтра выезжаю! Четверо суток – и дома! Да-да! Саша Новосёлов деньги перевёл! Да, встретили! Лучше некуда! Всё расскажу! Ну, закругляюсь! Три минуты! Всё! Жму руку! Пока! До встречи!»

Воспрянувшая душа пела. Всё забыл Кропин! Люди улыбались ему, он улыбался людям. Он снова двигался куда-то, заходил в магазины, стоял на перекрёстках, поражаясь множеству машин. В тихие улицы шёл – как в высочайшие зелёные тоннели из деревьев, где солнце только чуть пятнало асфальт. Пил из автоматов воду. Снова выходил на солнце к оживлению широких улиц. Он, казалось, сроднился с этим городом, с его приветливыми людьми. Он заговаривал с аксакалами, сидящими на скамьях с обстоятельными серьёзными клюшками. Он дурачился с ребятишками у радужных фонтанов. В чудесном этом городе он был уже, казалось, постоянным жителем...

Однако через несколько часов он долго стоял напротив дома на Тохтарова, не решаясь перейти дорогу. В руках у него была курица в сетке. (Где собрался варить-то её?)

Над улицей, словно изнывая от зноя, погибали послеполуденные облака. Пирамидальные тополя качивались как дамы, спутанные вечерними платьями до пят. По топольку у дома маслянисто принимались трепетать листочки... Кропин малодушно не шёл, маялся...

Курицу... курицу в сетке долго всучивал пугающейся старушонке. Старушонка понесла её, длиннопалую, сизую, в руке на отлёте, как балерину, оглядываясь, явно считая Кропина психом...

В дом проник как вор. Не встретив никого ни на веранде, ни в коридоре. Он хотел уже юркнуть в бывшую комнату Левиной... но увидел младенца... Возле дальнего окна, в осолнеченном пространстве ходил, рассматривал что-то на полу этот младенец лет полутора. Веющий золотистый султан волосиков на его макушке – носил солнце...

– Андрюша! – позвал откуда-то материнский голос. И Кропину мгновенно вспомнился другой Андрюша. Далекый сынишка Яши Кочерги. – Андрюша, где ты? Иди сюда!

Султан на голове мотнулся, зашпешил вправо, в темноту, вскинув за собой золотистой пылью...

Не дав Кропину зареветь, откуда-то налетела Елизавета Ивановна. «Что такое! Дмитрий Алексеевич! Как вам не стыдно! Куда вы пропали!» Кропина опять вели. Как государственного преступника. Опять несколько человек. Откуда они берутся тут? Чуть не силой его втокнули в какую-то комнату, где за столом сидел, можно сказать, следователь – Вероника Витальевна Калюжная. Она уже раскладывала перед собой, так сказать, «дело». Дело Кропина. Не глядя кивнула подследственному на стул. Ладно. Сел. Пусть. У Кропина спросили, как он отнёсся к прочитанному, к этим доносам. Которые вот надо раскладывать на столе. Искать в них сейчас самое, возможно, главное. Кропин удивился. «Как!» Что значит – «как»? Кропин начал заводиться. А как можно отнестись к грязным инсинуациям, поклёпам, к подлой клевете! «Как». Надо же!

Тогда, так же гуляя взглядом по столу, ему начали втолковывать, что он должен сделать с бумагами по приезду в Москву. Куда пойти, кому отдать. Чувствовались большие знания в этих вопросах у Вероники Калюжной. Однако одновременно с этим, сначала подспудно, как-то со стороны, а потом и явно она стала протаскивать мысль, что Кропин должен действовать один. («Понимаете, один!») От своего имени. Никого из них не упоминать, никого не впутывать в это грязное дело... «Это как же! – несказанно удивился Кропин. Вы инициаторы всего, и вы – в стороне? И-интересно». Кропин уже шёл пятнами, рвал ворот рубашки. И подследственный, и следователь тут же начали городить каждый свою правду. На Кропина откровенно смотрела стерва с бледным острым носом:

– Да поймите вы, поймите! (Глупый старик!) У каждого из нас положение в городе! Авторитет! Добытые немалыми усилиями, честным трудом! (Ой ли!) Мы не можем допустить, чтобы всё это рухнуло в одночасье! Ведь начнут таскать, выяснять! Всплывёт имя Маргариты Ивановны! Что мы им ответим?! Мы не можем этого допустить! Вы понимаете? Понимаете?!.

– Ага-а! У вас, значит, авторитет, авторитеты! А нам, значит, с Кочергой терять нечего! Нам, значит, можно в помоях купаться! Да кто затеял-то это всё?! Кто?! Я что, с неба сюда упал?! Я вас звал в Москву к себе, звал?! – Голова старика, стриженная под барашка, уже тряслась, точно звенела бубенчиками: – Звал?!.

– Да говорят же вам (глупый старик!) – мы ничего не знали! (Ой ли! А может, не хотели знать?) Маргарита Ивановна скрывала всё! Сама, сама хотела это дело... проверить. А тут болезнь. Вот и вспомнила вас. Лучшего своего друга...

У Кропина отпала челюсть от «лучшего друга». Кропин хотел призвать в свидетели саму Маргариту Ивановну. С портрета в кучерявом багете. Однако не дотянув до красного угла самую малость, та в портрете еле угадывалась в густых красках. Как будто болела там корью или золотухой. И ничего ни подтвердить, ни опровергнуть насчет «друга» явно не могла.

Зато в книжном шкафу, за стеклом, всё было зримо. Тут уж не придерёшься. Не-ет. Полное сизое нечитаемое собрание сочинений! Все пятьдесят пять томов! Тут уж всё на месте. И мелконький черепный автор при своем собрании. Да не просто в одном экземпляре, а моденькой ныне горкой. Как же – не в Тмутаракани живём!

– Вы чем-то недовольны?

– Ничего. Не обращайтесь внимания. Я – так.

Собственно, разговор был закончен.

– И всё же, Дмитрий Алексеевич, мы надеемся на вас. Думаю, вы нас не подведёте. (Да где уж! Всё на себя! Железно! Кремьень!)

Женщина устала от разговора. Глаза женщины были как бледные чирьи. Стоя женщина складывала бумаги в папку, чтобы передать её Кропину.

Неожиданно Кропин спросил:

– Может быть, похоронить это всё? Забыть, сжечь, выкинуть? А, Вероника Витальевна?.. Он ведь вам отец... Не жалко вам его?..

– Он негодяй... Он сломал жизнь мамы... Он должен ответить... – впервые по-человечески сказала женщина. Глаза её начали краснеть от слёз.

В свою очередь, Кропину сразу захотелось вёдливо спросить: а кто, собственно, была её мама в тридцатые годы? Маргарита Ивановна Левина? Кто? Разве это не она была глазами и ушами своего любовника, Витальки-шустряка? Не она ли прежде всего стучала на своих коллег? А уж потом вдвоём кропали они подлые эти доносы? Не она ли их печатала, в конце концов?!

Приняв папку и завязывая тесёмки на ней, о многом хотелось спросить Кропину у этой женщины про её маму, про их с мамой прямо-таки загубленную жизнь в этом городе! Когда шёл к двери, в спину неожиданно прилетело приглашение. На день рождения. Брату Александру – тридцать пять. Ждём вас к столу, Дмитрий Алексеевич. Кропин сказал, что у него нет подарка. Да и хотелось бы побыть перед дорогой одному. Вы уж извините...

– Напрасно. Будут интересные люди. Колоритные.... – Калюжная была прежней. С бледными глазами. Добавила загадочно: – Есть возможность увидеть современные нравы провинции...

Кропин пожал плечами, не сказав ни да ни нет.

В пустом кабинете Левиной ему уже была поставлена и застелена кровать на ночь. Сидя на ней, решил твердо, что ни на какие дни рождения не пойдёт. Хватит ему приключений! Однако как всегда налетела Елизавета Ивановна. А уйти от нее можно было... только ракетой. Пробив потолок. Поэтому, толком даже не отдохнув, Кропин как миленький сидел в семь часов на веранде. Куда, как в накопитель, в предбанник, уже прибывали гости, а Бонифаций, со всеми здороваясь, высоко подпрыгивал большой шайкой блох.

От непоборимой застенчивости Кропин сидел на стуле в совершенно дикой позе – в позе виолончелиста. Причем виолончелиста без виолончели. То есть с широко расставленными ногами и занесенной правой рукой. Казалось, вот сейчас вдарит смычком, заиграет, но нет – железно молчит, ни звука.

Не иначе как с коллегами, «виолончелиста» подвели знакомиться с двумя актёрами. Из местного драмтеатра. Большеголовые, плечистые, те на диване сидели уж очень как-то артистично, небрежно – набросав впереди себя изломанных своих ног. Холёные руки Кропину отдавали утомлённо, вяло. Как гинекологи после работы. Кропин подхватывал, держал, называл себя. Вроде даже один раз шаркнул ножкой. С почтением отошёл. Да-а, господа...

Позвали, наконец, к столу. Все оживились, задвигались, потянулись к раскрытой двери. Некоторые заспешили. И больше всех, теряя лицо, наши актёры. Хорошо потирали руки, стремились первыми ворваться в зал.

А Кропин большую столовую просто не узнал! Если вчера виноградный куст с потолка казался зелёным, то сейчас он сиял, был полностью белым, точно засыпанный снегом. Кропин толкся со всеми, чувствовал чью-то направляющую руку, но из-за яркой, прямо-таки дворцовой этой люстры (люстры из дворца!), плохо различал, что под ней на столе, не воспринимал по-настоящему всего великолепия блюд. За стол его вставили прямо посередине. Он сел. В дальнейшем не мог вспомнить, что ел и пил за этим столом – белый свет люстры и белоснежная скатерть просто оглушили его. Ему начинало казаться, что он на приёме в царском дворце екатерининской эпохи. Кругом одни только оголённые бюсты женщин и раззолоченные камзолы мужчин... Словом, чёртов этот свет, сверкание люстры надолго выбили Кропина из колеи, заморочил голову.

К действительности его вернул чуть не под руки приведённый старикан. Который был посажен прямо напротив. Неживой уже. С голой костяной головой. Сосед Кропина, выцеливая вилкой кружок колбасы, тихо гундливо поведаль: «Транквилизаторами мозги вымыл. Угу. Пач-

ками жрёт. Блоками. Угу». Оказалось – муж Елизаветы Ивановны! Официально представленный, Кропин приподнялся. С намереньем пожать через стол руку. Старикан даже не шелохнулся. Кропин сел, не зная куда глядеть. «Придурок, – опять точно в сторону поведаль сосед, всё выщеливая. – Угу. Транквилизаторы». Кропину подсунили судок с горой салата. Углублённо брал на тарелочку, найдя занятие. Хорошо хоть руку не протянул. Удержал в последний момент. Была б картина. Хвалил салат. Вкусно, очень вкусно! благодарю вас! Обильно забулькало в его фужер. Подвигнул себя с большим протестом. Да так, что фужер опрокинул. Всеобщий смех! Вскрики! Кропин схватил солонку, сумасшедше зафонтировал солью. По разлитому вину. Сейчас, сейчас, ради бога извините! Его удерживали за руки, останавливали. А он всё вытряхивал, солил. Усадили, наконец, беднягу, отобрав соль. Смеялись, хлопали по плечу. Да ерунда! Что – скатерть! Кропин кивал, как артист после исполненного номера, благодарил. Опять с полным фужером вина, непонятно кем и когда подсунутым.

Точно постоянная, узаконенная в этом доме нищая, гордо вышла перед всеми певица-бард с гитарой наперевес. В вечернем платье с длинным разрезом по бедру, худая. Парень при ней, тоже с гитарой – как смирившийся пожизненный воздыхатель. Все сразу захлопали. Нина! Рысюкова! Просим! Однако певица резко вскинула руку: тихо! тишина! «Для нашего дорогого именинника, Александра Николаевича Белостокова, прозвучит его любимый романс!» И она ударила по струнам (воздыхатель тоже) и страстно запела у именинника за спиной: «Отцвели и уж давно-о хризантемы эв саду-у-у...» Именинник сидел под раскатами гитар и пением, потупив голову. Точно подконвойный. Это был лысеющий блондин в очках. Гренок. Золотисто поджаренный гренок. Жена преданно трогала его руку. По окончании романса он привстал, и Рысюкова чуть не отвернула ему голову в поцелуе. Все ужасно захлопали. «Ещё, ещё! Нина! Пой!» Именинник упал на место, а певица продолжила свой мини-концерт. Теперь уже пела свое, бардовское. И каждый раз ей бурно хлопали. Два актера лупили лапами вверх. Bravo, Нина, bravo! «Из театра! Она тоже из театра! – радовался сосед Кропина. – Б... – каких свет не видывал! Одна шайка! Все трое из театра! На халяву сюда! Ага! Маргарита подкармливала! Шмотки, продукты, машины вне очереди! Ага!» – всё кричал во всеобщем гвалте Кропину сосед...

Однако гитары чуть погодя куда-то исчезли. Певица Рысюкова уже приклонялась, целовалась почти со всеми, а её гитарист скромненько сидел перед большой штрафной рюмкой водки. Певица упала рядом, схватила его штрафную, крикнула за именинника тост и хлопнула! Воздыхатель глазом даже не успел моргнуть. Бойкая дамочка, подумал Кропин, в общем-то, концертом довольный.

Но когда подали жаркое, поверх застолья вдруг вынырнул похабный анекдот. И рассказывала его эта самая певичка. Эта Рысюкова. Называла всё своими именами. Причём проделывала это с весёлой, роковой какой-то наивностью кобелька, который постоянно, прямо посреди людей, оседлывает своих сучек... Кропин замер. А бабёнка продолжала всё выше и выше, что называется, задирает подол. Это был, видимо, постоянный, накатанный номер артистки для этого дома. Этаким смакуемый всеми матерщинный эксгибиционистский акт. И все приглашающе смеялись. Заглядывали Кропину в глаза. Мол, как? Что скажешь? Здорово? Однако Кропин сидел красный, злой, не знал куда смотреть...

Не унимался, постоянно нашёптывал сосед. И тоже всё нехорошее, отвратное об окружающих. «Вон ту видите? Третью с краю? Угу. Муж-импотент. Сама пациентка сексопатолога. Угу. Он обучает ее оргазму. Сестра есть. Вон. Угу. Эта – нимфоманка. Точнее – спортивный мессалинизм. Коллекционирование партнеров. Угу. Записываются ею в специальную тетрадь. Как бы её книга отзывов о них. Поговаривают, уже перевалило за двести. Партнеров. Днем разгуливает по дому голая. Угу. Вы ещё не удосужились зреть?» Кропин удосужился, вчера, утром, однако вскричал:

– Да вы-то – кто?! Вы-то кто здесь?!

– Брат. Вон того. Угу.

«Вон тот» был хозяин дома. Муж умершей Левиной. Отец именинника. Ещё недавно вдовец безутешный... сейчас изучающий у себя под мышками двух, сказать так, племянниц. Двух весёлых куколок...

– Зачем же вы тогда мне всё это рассказываете? – зло недоумевал Кропин. – Зачем?!

– А-а! – хитро засмеялся сосед. Длинноголовый, лысый. Он казался пьяненьким. Однако тут же, точно ударив себя по затылку, объяснил всё чётко, трезво: – Обидно, уважаемый. Обидно. В таких семьях всегда так: на одного гения – сотня придурков. Угу. Присосавшихся придурков. И сосут они его. Сосут. Пока не высосут. Так и произошло. Угу.

– И кто же... этот гений?

– В могиле который. Вернее, которая. В могиле. Которую вы – не застали. Угу. А остальные вот, перед вами. Веселятся. Угу.

– Чего же теперь с ними станет? – строго спросил Кропин. Тоже слегка подкосевший.

– А ничего. Половину пересажаят. Остальные – по миру. Угу.

Кропин задумался. Однако один за другим следовали тосты. Тосты-команды. Несколько растянутые в начале. Но, как сельские бичи, стегающие в конце. После чего все стадо вскакивало и начинался большой перезвон бокалов и рюмок над столом. (Один, правда, не вскакивал. Был как-то отдельно от всех. Рюмка у него, стремясь ко рту, сильно трепалась. Вроде вертолёта.) И снова звучали тосты-команды (славил всех подряд, даже Кропина), и опять все вскакивали и ужасно озорничали над столом, умудряясь бокалы и рюмки как-то не разбивать. (Рюмка у алкаша уже летала. Свободная, без привязи.) Но постепенно перезвон бокалов становился умеренным, без вскакиваний, доверительным. Уже между соседями, как бы следуя через раз. (Рюмка перед алкашом бездействовала. Как внезапное развившееся его косоглазие.)

Гулянка, как и все гулянки в мире, казалось, теряла направленность, контроль, но кем-то, наверное, всё же управлялась. К пианино на вертящийся стульчик стала усаживаться полная гладкая дама. С усиками. Как у тюленя. Раскрыла ноты и пошла хлопать руками по клавишам. Все сразу подхватили, запели. Дама-тюлень поворачивалась к поющим, сама пела, усики её чёрно лоснились, руки хлопали ещё пуще, и одобренные таким вниманием, вдохновлённые им, все начали орать что есть мочи, и Кропин громче всех:

*...Для т-тебя! для т-тебя! для т-тебя!*

*Самым лучшим мне хочется б-быть!*

После пения, долго отходя от него, Кропин только отирался платком. (Зачем, собственно, орал?) Неожиданно увидел Веронику Калужную. (Что за чертовщина! Не было же ее за столом!) Вероника склонялась к имениннику, что-то ему говорила. Даже гладила по голове. Гладила его гренок! (Вот это да-а!) С большим ухом Кропин разом придвинулся к соседу. Сосед с готовностью забубнил: «Змея. Подколотная. Угу. Подмяла в университете всю кафедру марксизма-ленинизма. Хотя сама только с кандидатской. Но – в фаворитках у Башибузука. Угу. Все пляшут под её дудку. Здесь, в доме, бьётся насмерть с отчимом. Угу. Как ни странно, любит Сашку. Именинника. Сводного брата. Вместе с матерью женила его. И в карьере тащит. Директор ЖБЗ. Хотя дундук, каких свет не видывал. Угу».

Ничего не подозревая, «дундук» блаженно улыбался, свесив гренок, пока сестра продвигалась дальше. «Теперь смотрите, смотрите, – где сядет!» – толкал сосед. Калужная села прямо напротив своего отчима. «Племянницы» засмутились, в неуверенности начали освобождаться от рук «дяди». Однако Вероника посидела немного, поваляла еду вилкой – и ушла. Точно не найдя в ней, еде, ничего интересного. Бокал с вином тоже остался нетронутым. Отчим нервно похохатывал, освобождаясь от напряжения. С большими скулами походил на седло. (Однако Достоевский бы явно отдыхал в этом доме.) Кропин старался не смотреть на мужа Левиной.

На неутешного вдовца. Тот же, наоборот, – как давно разоблачённый, более того, при Левиной отсидевший весь срок в этом доме от звонка до звонка, – всё время что-то кричал Кропину с конца стола. Всё пытался узнать, как там наша столица, не провалилась ли ещё в тартарары. А, товарищ Кропин? Лоснящееся «седло» его потрясывалось от смеха.

На всеобщем пьяном фоне резко выделялся своей трезвостью крупный мужчина с курдючным свисшим лицом. Национал. Всё человек имел, через всё прошёл. Пухлой, вялой рукой отводил лезущие к нему рюмки, ничего не ел. Казался серьёзно больным... Наконец тяжело поднялся, никому тут не нужный, лишний. Устало похлопался с вскочившим хозяином по-национальному, с двух сторон. (Отвалившиеся от вдовца девки чуть не попадали со стульев.) Ему что-то шептали. Умными глазами смотрел на Кропина. Издали кивнул. («Бывший предрайисполкома. Угу. Друг Левиной. Соратник. Рак последней стадии. Скоро встретятся. Угу».) Потом вышел. Как отряхнулся от провожающих.

– После восьмидесяти человек словно выходит в пустую степь. (Что за чёрт! Это заговорил старикан с костяной головой! Муж Елизаветы Ивановны! И говорил, ни к кому не обращаясь, для себя! Как сомнамбула!) Он остаётся в ней один. Его сверстники, родные умерли. Он один в степи. Он ушёл дальше, далеко вперёд от остальных. Он бессмертен...

Костяного сразу начали выдёргивать из-за стола. Им же похороненные племенники. Повели. Костяной протестно щёлкался в дверях, как кегля в кегельбане. Елизавета Ивановна (жена) – даже бровью не повела. Елизавета Ивановна давно и неотрывно смотрела на Кропина. Мечтающе, подпершись рукой. Точно влажные миражи, глаза её были растерзанны от любви и чёрной краски... Кропин смутился. Но тут ударила на всю мощь музыка из магнитофона. И все обезумели. Выскакивали из-за стола. Хватали друг дружку в обхватку и пихались как бочки. Какая-то беременная молодая женщина, до безобразия обтянутая спортивным трико, выделявала прямыми ногами. Как стригла ими впереди себя. На белой майке, на большом животе было написано по-английски: *this is sport!* И беременная всё сучила прямыми ногами, подкидывая живот этот с надписью как дом.

Два актёра прыгали высоко и крупно. С поднятыми руками. Будто в баскетбол играли. Будто закидывали мячи в корзину. Пригнувшись, откидывая ноги назад, устремлялась к ним певица Рысюкова. С ужатой заднюшкой, как с ёрзающей домброй. Сосед Кропина вдруг кинул себя на стол и закричал: «Ж-жарь, Нинка-а! Ж-жарь!!» Длинная головёнка его чуть ли не колотилась об стол: «Жги, Рысюкова-а! Ж-жги-и! Мать-перемать!» У Кропин начали вытаращиваться глаза, соседа он не узнавал.

В какой-то момент Кропин почувствовал, что сам опьянел. Что он, Кропин – пьяный. Да, пьяный. И крепко. Но с опьянением, как ни странно, всё происходящее стало видеться резче. Казалось нереальным, перевёрнутым с ног на голову, но резко чётким. Так бывает, если находишься в перевёрнутой зеркальной операционной. Кропин хотел залить всё слезами и не смог. Поцелуй подкравшейся сзади Елизаветы Ивановны был тянуч, как пульпа. Как сырая резина. На стуле Кропин колотился и руками, и ногами. Резко восстал. Пора кончать эту лавочку. Эту козу-ностру. Да! Пора кончать! Хватит. Пожировали, гады. Пора. Что я говорю? Говорю, что пора. Хватит. Пожировали. Прошу не трогать! Я сам! Без рук! Я сам дружинник! Не сметь!..

...Глухая торцовая стена девятиэтажки была шершава на ощупь, чёрно уходила вверх. Нужно было лезть по ней Кропину к беззвёздному, сажному небу. Таков был дан Кропину приказ. Не выполнить его – нельзя. Невозможно. Кропин подходил к стене, раскидывал по ней руки. Словно пытался обнять всю. Примериваясь, смотрел по стене вверх. Нет, невозможно забраться по ней. Начинать плакать, сглатывая колом торчащий, поскрипывающий кадык.

Стена вдруг разошлась. Сама. На метр-полтора. Светящаяся, ударила вверх щель. Кропин отпрянул, отбежал от стены.

Открывшись, симметрично уходя в небо, один над одним сидели на унитазах люди на всех этажах. При общей толстой трубе. Все со спущенными штанами, белозадые. Почему-то в буденовках...

С болью в сердце, всей душой стремясь снизу к ним, Кропин спросил их:

– Где же ваши кони, Красные Дьяволята? Почему вы не на конях? Где вы их потеряли, Красные Дьяволята?

Люди при общей трубе не ответили. Не обернулись и не посмотрели на Кропина. Кто-то из них тихо скомандовал:

– Внимание... Рысью... марш!

И они разом дёрнули цепочки. Каждый свою.

Труба страшно зашумела, обрушивая всё своё содержимое на Кропина...

Кропин подкинулся в кровати, задыхаясь.

В комнате Левиной на полу испарялась лужа луны. Фотографии висели по стене как слизи... Кропин опрокинулся на подушку.

Ранним утром, со страшным запором, он являл собой крокодила, который сидит на своем хвосте.

– Ы-ы-ы-а-а-а! – пропадал он. – Пррроклятье!..

Кое-как исполнил всё – и вода рухнула в унитаз бурными, долго не смолкающими аплодисментами. Чёрт бы их задрал совсем!..

После утреннего чая, чая формального, быстрого, почти без слов, прощание в коридоре было таким же скомканным и торопливым. Все словно стремились поскорее избавиться друг от друга (не только от Кропина) и разбежаться по комнатам. Надменная Вероника только кивнула и первой ушла. Впрочем, Бонифаций и Елизавета Ивановна провожали Кропина до ворот и на улицу. Весёлый собачонок прыгал, ударялся о чемодан, норовил допрыгнуть до лица. Елизавета Ивановна плакала, просила писать. За воротами Кропин надолго обнял затрясуюся женщину...

В машине племянники подталкивали его, подмигивали. Как приз за мужское героичество, поставили ему на колени громадную корзину, укутанную белым. Что это ещё такое! Уже на ходу Кропин стремился избавиться от корзины. Племянники не давали. Как гусей, ловили кропинские руки, держали. Машина скрылась за углом. Бонифаций подбежал к забору, сделал акробата, расписался: всё! уехал!

По перрону быстро шёл с племянниками к восьмому вагону. И здесь были цветы! Синие цветы, расстеленные ковром. Как пышная синяя плесень. Ещё клумба. Теперь цветы рыжие. Точно большая, пряная изжога, лезущая из Кропина. И, наконец, как крупнейший вывернутый цветник уже всего города – кучевые облака над составом. Да-а, такое не забудешь. Не-ет. На всю жизнь наелся цветов. Кропин жал руки. Кропин уже лез с чемоданом в вагон. Как бы случайно, корзину – оставил. На перроне. Племянники не дали смухлевать – толкали корзину наверх снизу. Уже на ходу поезда. В купе сидел – как торговец. На коленях – корзина. Ему посоветовали поставить её пока на пол. Сейчас, сказал он и полез с корзиной из купе. Поезд уже всюю шёл. Мелькали за окнами пакгаузы, козловые краны, взмывали и падали провода. С корзиной на руке Кропин двигался по проходу вагона.

– Дед, что несёшь? Пирожки, газировку? А ну-ка посмотрим!..

– Нет, нет! Нет пирожков! Ничего нет!

В тамбуре подёргал наружную дверь. Уже закрытую. Точно не веря, что её закрыли. Ч-чёрт! Между вагонами, как в наколачивающем грохот гофрированном баяне, смотрел на ёрзающие под ногами железные пластины. Нигде не было ни дыры, ни даже щели. Это ясно. Дальше пошёл. Через следующий вагон.

– Дед, заходи сюда! Чего принёс?

– Ничего нет, ничего! Принесу!

Неожиданно вышел к вагону-ресторану. В тамбур перед ним. Кинулся мимо жара кухни к раскрытой двери с решёткой до пояса...

– Куда?! Назад! – Его ухватили за хвост пиджака.

Отпрянул. Корзина на руке.

– Куда полез?! Выпадешь!

– Хотел посмотреть...

Пошёл от решетки. Пошёл не туда.

– Ресторан закрыт!.. И вообще – ты кто такой? – Плотный повар в грязно-белой куртке придвинулся. С ним придвинулся ещё один. Такой же бело-грязный. С добавлением ножа в руку. Первый уже объяснял второму: – Ты смотри! Со станции! Конкурент! А?

– Нет, нет!.. Я... я частное лицо... Извините...

Мимо подставленных глаз поваров Кропин с корзиной протискивался. Так циркач лезет через ящик с острейшими ножами.

– И-ишь ты, деловой! «Частное лицо»! Мы тебе покажем! – неслоь вслед.

В своем вагоне, уже пройдя туалет, увидел, как оттуда вышла девочка с полотенцем. Разом остановился. Девочка прошла мимо. Тогда, оглядываясь, втиснулся с корзиной в туалет. Заперся. С трудом стаскивал, сталкивал раму со стеклом. Совал в открывшееся окно корзину. Корзина, гадина, никак не вылезала наружу. Ручка мешала! Начал остервенело выворачивать, ломать ручку. Оплетённая лозой ручка была вделана на совесть. Вывернул-таки! Вытолкнул, наконец, всё наружу. Корзина ухнула под откос, ударилась несколько раз о землю, закувыркалась и, не теряя ни грамма содержимого, улетела в кусты. С большим облегчением Кропин вымыл руки. Когда вышел – в проходе вагона уже металась женщина. Полная, перепуганная, совалась ко всем:

– Вы видели? вы видели, товарищи! Сейчас выкинули чемодан! Из туалета! Украли, выпотрошили и выкинули!.. Товарищ, вы видели? – Кропина схватили за рукав.

– Нет! – сразу выкрикнул Кропин. – Ничего не видел! Вам показалось!

Протискивался по вагону, ужимался, обходя выскакивающих с длинными шеями пассажиров.

В купе вытирал пот с лица.

– Товарищ, – тронули его за колено, – вы нигде не оставили свою корзину? Не помните? С вами же корзина была? Где она?

На него смотрели улыбающиеся лица.

– Да что вам всем далась она? А? Чужая она, чужая! Отдал, отнёс! Понимаете? А?..

## 4. Танцы в парке по средам и субботам

В количестве восьми человек на дежурство дружина вышла ровно в половине восьмого. Александр Новосёлов во главе. Танцы ещё не начались, и в парке было пусто. Уводили малышей домой молодые мамы. Пенсионеры сворачивали газеты. Поднимались, кряхтели и устанавливались. Как паромы для отплытия. Изредка попадались свои. Лимитчики. С тоскующими, какими-то испуганно промежуточными глазами.

Не торопясь дружинники шли. Вдоль аллеи, словно шершавые ноги слонов, стояли старые тополя. В двух местах вылезли из земли мордастые дубы. Возле одного из них, на детской опустевшей площадке, какой-то гражданин в майке и домашних тапочках стискивал руки, ставил себя в натужно-дикие позы. Гражданин был пьян в той степени, когда о прежней своей жизни совершенно не помнят. Он только культурист был сейчас. То в одну сторону натужится-пригнётся, то уже в другую присел. Девчонки его боязливо обегали. Он про девчонок не помнил. Дружинники подошли. Окружив, смотрели. Гражданин, всё так же тужась, приседал, зверски оскаливался. Мучимые жилые руки его были сродни сервелату. Ы-ыык! – помогал он себе голосом. Ы-ыык! Ы-ыык! Полностью ожелезнённого, его подвели к скамейке. Усадили. Уходя, дружинники посмеивались. Культурист застыл. Раскрытый рот его напоминал карьер. Со скальными породами.

Из боковой аллеи вышел навстречу воинский патруль. Офицерик впереди. Молодцеватый, как щелчок. Два солдата рядом с ним – просто везущиеся увальни. Не знающие куда деть свой рост, свои руки. (Вопрос: почему кто командует – всегда маленького роста, а кто подчиняется – горбыли, увальни?) Проходя, офицерик дружину не видел в упор. А солдаты все так же едва за ним попевали.

Кто-то высказал предположение, что – Дембелей Секут. Сегодня же День пограничника. Ну, дембелей им уже вылавливать незачем, возразил Новосёлов. Не их они уже. Да и сходка была наверняка в парке Горького. Куда они и не сунутся никогда. А вот своих, салаг каких-нибудь, загребут, надо думать, сегодня немало.

Школа Настоящего Мужчины пройдена совсем недавно, поэтому все уважительно ухмылялись, почесывали в затылках, вспоминали. Да. Армия. Она – того. Не больно там. Это самое. Да. Это точно. Пошли армейские байки, легенды. Кто-то вспомнил, как надул Старшину Товстуху (парни, парни, ха-ха-ха!). Другой – как из самоволки возвратился вдребезину, и – ничего, братва, пронесло! Кто ещё что-то плёл. Вспоминали о дембельских сходках. О сходках в День танкиста, в День воздушно-десантных войск. О повальных пьянках там, о драках со штатскими, с милицией...

В первые годы после службы Новосёлов тоже таскался на такие сборища. И у себя, в Бирске, и здесь, в Москве, один раз побывал. Однако сейчас, идя со всеми, восторженными, неумолкающими, не хотелось даже вспоминать об этом. На фоне всех этих пьяных сборищ ослов в фуражках, всего этого позора и безобразия в масштабах городов... его всегда печалили совсем другие встречи – встречи ветеранов. Неприкаянные встречи участников войны. В Москве – неподалёку от могилы Неизвестного солдата. В День Победы. Больно было смотреть на рядовых. В солдатском которые пришли. Или в матросках и бескозырках. Какие-то неправдашние они были здесь. Седые все, со старыми, в морщинах, лицами. С железными посвистывающими коронками. На всех было слишком опрятное всё. Не с фронта. Сшитое гораздо позже. Какое-то маскарадное... И вот стоят кто где. Точно состарившиеся грустные плясуны. Как обрядили их сейчас. Шуточно, зло... Генералы да полковники – будто родились в своей форме. Похаживали, разговаривали громко, похохатывали, похлопывали снисходительно плясунов. А те, походило, так и остались рядовыми в своей жизни. Печалило это всё. Обидно было

за стариков... Новосёлов вздыхал, старался отвлечься от наплывшего. Тем более что офицерик и солдаты давно с аллеи исчезли. Да и разошедшиеся «дембеля» по одному умолкали.

Мимо, к закатному солнцу, тянула сорока. Исподними белыми перьями помахивала как двумя веерами. Конец мая, а всё почему-то не улетела из города. Усевшись на ветку – стрекотала. (Дружинники задирали головы, прищуривались. Все, можно сказать, деревенские. Соскучилились.) Как обгорелое полено, мотался хвост. Сорока склюнула последний луч – и осталась в печёном закате как таракан в хлебе. Сразу же застучал ударник на танцплощадке. Замяукали гитары, настраиваясь. И вдарили дружно так, что над деревьями луна разом поднялась. Как таз. Большой, удивлённой.

Дружинники, внутренне подобравшись, пошли... в другую сторону от танцплощадки. Рано ещё. Пусть там всё разгорится...

Когда, сделав круг, снова вышли к центру – танцплощадка бушевала. Полная до краёв. С тонкошеими шляпными фонарями по загородке – напоминала лагерь. Зону. Этакую высвеченную зонку счастья в тёмном парке. Где идёт повальное братание заключённых с охранниками, мужчин с женщинами и в которую рвутся все кому не лень, рвутся сами, добровольно. То тут, то там парни взбегали на забор с проворностью пожарников. Билетерши взывали о помощи. Дружинники нервно посмеивались: поймай такого гвардейца!..

Снова ушли гулять. В глухом тёмном углу парка пели на деревьях какие-то птицы. Словно создавали кутерьму комет в звёздном небе. Хорошо-то как! И никуда вроде бы не надо больше идти...

Однако пришлось завернуть к танцплощадке и в третий раз. Зонка тарабахала, ревела, ухала. Колебания почвы ощущались значительно сильнее. Прямо за загородкой, с краев мотающегося месива тел стайками стояли девчонки в коротких юбках. Нетерпеливо постукивали ножками, помахивали папиросками. Этакие подмалёванные мальвинки. В обязательном порядке над ними скучно загнулись длинные их подруги. По одной, по две на стайку. Тоже намалёванные. Мальвины натуральные. Кавалеры их выдергивали. Как ракеты.

Из темноты аллеи на освещённое вышел странный дядька. Со стриженной под бокс головенкой, в бобочке, узкоплечий, в чудовищных брюках под самое горло. Прямо из 50-ых своих выпал. Не вымершим динозавриком.

Перед иллюминированно разыгрывающей кассой стоял, поматывался, вспоминал Невесту Галю. Или Маню, к примеру... Дружина затаивала дух, не знала что делать: вести ли его куда, оставить ли здесь, чтоб мотался? Не обращая ни на кого внимания, дядька начал запускать в карман брюк руку почти по плечо. Видимо, искал деньги. На него смотрела из кассы старинная, вся в золоте сова. Кинул ей мелочи, чтоб не смотрела. С длинным билетом, толкнув Александра Новосёлова (дружинника), двинулся к турникету. И билетерши, от изумления, его пропустили.

А дядька – руки в бока – уже стоял перед танцующими. Как перед долбящимися деревьями. Затем сунулся в них, локотками поработал и был принят: боксиковая головенка с чубом замоталась вместе со всеми. С облегчением дружина снова пошла подальше куда. Слушать птиц или еще чего там. (Однако – дружина!)

Вышли на улицу. Из боковых дверей кинотеатра напротив начали вываливать наружу зрители. Вытирались платками. Почему-то все хмурые. Достал, видать, фильм до селезёнки. Пугая дома, о двух колесах промчался ревущий шлем. За ним вдогонку второй, такой же трескучий. Затем неслась домой с моржовыми стеклянными усами поливалка. И улица опустела. Потоптавшись, дружина вернулась в парк.

– Кретинва-а-а-а! – рвалось изо рта маленького человечка в чудовищных брюках. Не спуская с него глаз, дружина, как во сне, продвигалась вдоль загородки. Поражённая тем, что человек так сильно может кричать.

– Кретинва-а-а-а! – всё не унимался человек в расшатнувшейся, недоумевающей толпе, стучая себя по колену и зажмуриваясь. Дружинники уже бежали, налетая друг на друга.

– Кретины-ы-ы-ы-ы! – неистовал и бился дядька. Делая ударение на «ы-ы-ы-ы», выдирая его из себя. И уже осаживал, осаживал толпу. Осаживал рукой, приседая: – Стоять! стоять, я сказал! – Так осаживают, дрессируют щенка: – Стоять, кретинки, стоять. – Говорил уже почти ласково: – Вот так, вот так... А теперь слушай сюда!.. Я б вас всех взял, вот так бы намотал... – Тощими руками он показывал, как «наматывает», – вот так... Удавил бы! (Он показывал теперь как «давит», выкатывая глаза на свой сжатый трясущийся кулак)... и выкинул бы вон за загородку к такой-то матери! – Он отряхнул руки, «выкинув»: – Ну как, кретинки? Устраивает? А ну подойди кто смелый!

Как после тихой команды, от толпы ножами проскочили к нему с трех или четырех сторон. Он тут же был сбит с ног. Пинаемый, удивлённый, вскакивал:

– Лежачего – не бьют!

Его снова сбили с ног и начали убивать, с размаху, ногами, под дых, в лицо, в спину. И он опять на удивление всем вскакивал:

– Лежачего... не бьют!

Снова сшибли его с ног и страшно били ногами.

Опал, наконец, на доски, вздёргиваясь на руки, со шнурами крови из носа, промятый в спине – как проткнутый резиновый детский мяч...

– Лежачего... не... бьют... – проталкивались с кровью наружу слова.

Новосёлов Александр пробивался сквозь толпу, расшвыривал. Цапнул удирающего парня. «Ну, ты, лимитный! – Нос парня был как брезгливая пуговица. О двух расширенных ноздрях. – Прочь!» Парень вырвался. Быстро сунул руку в карман брюк. Не раздумывая, Новосёлов саданул по ноздрястой сопатке. Полетел на пол нож, парень опрокинулся. Новосёлов прыгнул, подмял его под себя, выдергивал ремень, чтобы вязать. Бросились Юшкин и Коноплянкин. Оба белые, судорожные, помогали. (Почему фамилии-то у них такие? почему? – нелепо проносилось у Новосёлова.) Остальные излишне суетились сначала: бросались в ноги толпе, искали там нож, будто расчёску, подхватывали его, передавали друг другу, точно обжигаясь им. Но быстренько раскидались спинами к своим, ополчились, изготовились для драки. Толпа колыхалась, не решаясь ринуться и смять.

Вздёрнули с пола парня, повели. Уводили, утаскивали с собой и дядьку. Чтобы не добили. Голова дядьки моталась, как размозжённый красный пион.

Вдруг начали разгораться вопли, скулёж. С двух-трех голосов

– Су-ки лимит-ные! Су-ки лимит-ные!..

Врубилась гитаристы, ударили ритм с ударником во главе. И вот уже вся толпа, приседая, кроя рожи, скандировала:

– Су-ки лимит-ные! Су-ки лимит-ные!..

Новосёлов шёл, стискивал зубы, держа большой нож в руке, как сложенный зонт.

А толпа всё орала и орала, валя за дружиной, накаляя себя, готовая кинуться, растерзать.

Было ясно, что ноги не унести. Когда с танцплощадки все свои вышли, Новосёлов с ножом бросился назад. Ощерился, пугнул. Задвинул турникет:

– Закрывай!

Билетёрша (второй уже не было) накинула замок, закрыла. Побежала, подвывая: ма-ма-а-а! Толпа взревела от такого вероломства, начала выдирать высокий турникет с мясом. Закачалась, затрещала загородка – шпана посыпалась сверху. Скандёж оставшихся заключенных резко усилился, вдохновенно взмыл.

Чувствуя близкую свободу, парень рвался, орал. Его тащили, пинали. Утаскивали и безжизненного дядьку. Новосёлов кулаком отшибал уже налетающих, которых становилось всё больше и больше, которые брали в кольцо, забегали вперёд, отрезая путь, оскаливались

ножами, как волки, всё не решаясь по-настоящему напасть. Новосёлов метался с ножом наизготовку. Пугал. Не подпускал к своим. Толкал, чуть не тащил дружину вперёд, к воротам, понимая: если остановятся – конец. В свою очередь, дружина словно не замечала волков. Была словно бы сама по себе. Тащила по-прежнему рвущегося парня, уводила изувеченного дядьку. Как будто углублённо работали все. Засовывались в работу, как страусы в песок. Словно только от этого зависело: жить им или не жить. Коноплянкин, а потом и Юшкин получили палками по горбам. Ничего, работа. Требуется. Да. Новосёлов отбивался. Уже от троих или четверых. Пролётом полоснули ножом по руке. От плеча вниз. Ничего, гады, ничего! Работа! Новосёлов поддел кулаком одного и тут же второго. Ничего! Ещё одного достал. Работа! В разрезанной до локтя белой рубашке точно красный огонь полоскался...

Вдруг орать на танцплощадке перестали. И в аллее все остановились. И преследуемые, и шпана – в парке замелькали, завизжали мигалки. Одна, вторая, третья. Бежали милиционеры, дружинники. И всё перевернулось, всё разом стало наоборот: преследователи рванули кто куда. «А-а! Испуга-ались! – чуть не плакали дружинники. – А-а! Так вам и на-адо!» На бегу шпана выкидывала ножи, кастеты. Лезла на прутья ограды парка. Многие сигналы обратно на танцплощадку, чтобы смешаться с танцующими и тоже танцевать. Одного выдернули в трусах. Из-под куста. Но с брюками на руке. Ещё тащили немало к машинам.

Осторожно подсаживали в газик, чтобы везти в больницу, изувеченного дядьку. Парень со связанными руками был брошен к стволу тополя. Точно безрукий, весь скукоженный, качался, гнулся к траве. Пуговичные ноздри его расширились. «Погоди, сука. Придёт и мой черёд. Из-под земли тебя, гада, достанем. Погоди-и!..» С перетянутой платком рукой устало сидел на пеньке Новосёлов. Молча смотрел на парня, удерживая его нож. Нож парня был выкидной. Так называемая выкидушка. Свисал с руки Новосёлова чуть не до земли.

На другой день Александр Новосёлов проезжал на автобусе мимо парка. Парк был пуст. Дул сильный ветер. По аллеям летала бумага, пыль, вверху, как тряпки, уносило-кидало ворон. Тополя резко клонились-кланялись, как от стыда накидывая на головы серебряные исподы листьев.

## 5. Единые с летней природой, или Поле для одуванчиков

...Над грядками моркови, как слюда, висели стрекозы. Колька и Сашка напряжинивались, ловя момент кинуться. С приготовленными кепками в руках. То одну, то другую – ветер сдувал стрекоз. И снова выносил наверх. Опять как живую слюду в солнце... Сашка и Колька бросались, падали на грядки. Без толку – стрекозы ускользали. Мальчишки лежали в махратой морковной ботве. Как будто в терпком, стойком зелёном опьянении, бьющем прямо в нос. Не решаясь поднять над ним головы.

– Вы опять там! Вы опять! – кричала со двора тётя Каля.

Мальчишки ползли. По канавке. Сбоку грядки. Как ужи. Потом горбиком вставали. Будто что-то ищут на земле. Разглядывают. Жучка ли, гусеницу какую. «Вон Карангуль, Карангуль!» – нарочно кричал Колька, чтобы услышала мать. (Имелся в виду, по-видимому, маленький паучок из семейства тарантулов. Почему-то считавшийся злейшим врагом огородников.) Однако «карангуль» как будто бы убежал, и ребята окончательно распрямлялись. Карангуля вроде как не поймав.

– Я вот дам вам сейчас карангуля! Я вот вас сейчас прутом!

Калерия и Антонина стирали. В двух оцинкованных корытах. Как будто на корытах выступали.

Сашка и Колька крались по противоположной стороне улицы. «Куда?!» – кричала из двора Калерия. Мальчишки застывали. Разоблачённые. «А воды?..» Колька предлагал рвануть. Не догонят. Сашка колебался. Антонина молча дёргалась над корытом. Не глядела на сына. Сашка не выдерживал, шёл. Брал два пустых ведра. Кольке всучивали одно, маленькое. Шли на дальнюю колонку.

Во всех дворах женщины стирали! Как обезумели! Сашка и Колька только подсказывали. От выплёскиваемых помоев. Как от сырых дохлых кошек. Курицы сглупа кидались. Но – разглядывали только дохнущую пену, не решаясь клюнуть... Дуры!

Когда обратно шли, два петуха подпрыгивали-дрались. Как две индейские намахраченные пики в воздухе ударились. И помоев на них не было! Сашка плеснул воды. Петухи побежали в разные стороны. «Зачем облил! Пусть бы дрались!» – заныл Колька. «Дурило!» – посмотрел на него Сашка. Снова ведра подхватил.

Сходить на колонку пришлось целых три раза. Пока не наполнили чёртов этот бак во дворе. Ну, всё? Мы пошли? Беспечно крутили головами по сторонам, старались не посмотреть на тётю Калю. «А развешивать?..» Кольке сунут был целый таз с бельем. Колька закачался, опупел от таза. «Да ладно, Каля. Пусть идут», – вступилась Антонина. Таз сразу же был брошен. Прямясь, поспешно уходили, точно подпинаваемые, подпинаваемые сзади. Радостью ли, испугом ли. Торопились по улице. Оглядывались. Всё не верили в своё освобождение. По всей улице женщины по-прежнему вышугивали помои – будто драных кошек своих на дорогу выкидывали.

Поле спряталось за холмом, на спуске к Белой, за Домом ортопедических инвалидов. Нужно было только пройти за Дом, глянуть с горы вниз и – поле... Когда ребята обнаружили его, когда увидели его в первый раз – ахнули. Одуванчики росли сотнями, тысячами. Они словно встали перед Сашкой и Колькой. Как не здешние. Как тонконогие инопланетяне. Как будто только что прилетели откуда-то на землю и ничего не знали ещё на ней... Колька кинулся с палкой: ур-ра-а-а! Залетел в самую середину. Начал выбивать пух. Точно выдёргивать палкой. «К-куда залез?!» Сашка пробрался, вырвал палку, дал по затылку: «Чего, чего делаешь!»

Обратно выводил Кольку за руку. Тот тоже задирает ноги, чтобы не помять. «А чего-о! – ныл. – Нельзя, что ли?» – «Нельзя. Понял?»

Сашка присел, протянул руки к одному одуванчику. С краю который был. Осторожно обнимая его ладонями. Одуванчик в самом деле был как инопланетянин. С любознательным глазком в середине ловкого, лёгкого нитяного шара со звездочками. Шара тёплого. Живого. «Нельзя трогать...»

...Как и в первый раз пришедшие ребята опять стояли на краю поляны. Опять смотрели бесконечно долго. А одуванчики поколыхивались на ветерке – как доверчивые глазки-пухлики...

– Не говори никому, – сказал Сашка. – Пусть стоят... Нетронутые...

– Ладно, – сказал Колька. – Никому не скажу.

По бурьяну ребята круто взбирались наверх, к Дому инвалидов. «Ортопедических», как их называли в городке. Потому что все они были больны ногами. Старались выйти от обделавшейся в овраг уборной подальше. Слепой плешкой монашка летало вверх обеденное солнце.

Чтобы увидеть ортопедических мужчин, вползали на карачках в подвальные окна. Как в русские печи. Осторожно раскрывали створки окна. Ортопедические – все в фартуках – колыхались над верстаками как длиннорукие весёлые растения. Всё отовсюду могли достать: рваные башмаки, подмётковую кожу, колодки со стеллажей. Слышался дружный смех. Кто-то один рассказывал. Колька пролезал дальше. Ух ты! – ещё чего-то видел там, невидимое Сашке. Однако еле успевал отскочить. Пропустить в полёт колодку. И дружный хохот из окошка.

Сашка подбирал с земли колодку. Долго разглядывали. Нагая колодка походила на костяную ногу. Но – как бы без ноги... Обратило колодку бросали быстро. Как в колодец. И опять отскакивали. Точно боялись, что рукастые из окошка схватят их и утащат в подвал. Весёлые хохотали.

В трёх больших окнах над ними, как в пароме спрятав руки, всегда сидели три человека по грудь. Вроде портретов. И паром их как будто не плыл никуда. Большими глазами три человека смагивали очень медленно и редко. Реже, чем совы. Это были начальники. Ребята их не боялись... Хоть подпрыгивай, хоть шуми, хоть что – не шелохнётся.

Как работают инвалидки, в честь которых называли Дом, увидеть было нельзя – стекло окон в пристрое, где находился швейный цех, было закрытым, матовым. Можно было только услышать из форточек горячую стрекотню машинок, пахнущую машинным маслом и детской байкой. Сашка и Колька постояли, послушали. Так выслушивали бы, наверное, люди возле тюрьмы: не прилетит ли ещё какое слово сверху?..

Ребята пошли, наконец, дальше. И сразу увидели инвалидку. Живую. С трущимися друг о дружку, точно связанными ногами. Инвалидка переваливалась им навстречу. Колька втихую стал подталкивать Сашку, захихикал. Так и уходила она к цеху своему, сцепленно переваливаясь. А Колька все не унимался, тыкал пальцем: «Как буква! Как Хэ-э! Как заглавная!» – «Чего смеешься-то? Дурило!» Сашка мазнул ему. Хмурился. Как Константин Иванович. Отец. Не досмотрел. Упустил малого.

Время вокруг было большое. Всё наполненное солнцем. Его можно было замедлять. Его можно было убыстрять. Ребята шли. Сирень над заборами походила на деревенские рубахи. Тяжёлые хохлатые свиристели вцеплялись в них, раскачивались как колокольцы. Головами вниз... «Эх, рогатки нету!..» – спотыкался, паялся Колька. Сашка покосился на него. Ничего не сказал.

Во дворе почты ребята увидели курицу. И удивило их не то, что она оказалась здесь, а то – что была одна. То есть одна совсем. Без своих соплеменниц. Она была как будто из не

пойманных Мыловым. Известным куроцапом. Не уворованная им. Она вышагивала с какими-то замираньями. Шагнёт и станет. Снова шаг, и лапу подожжёт...

– А курица когда идёт – сердце у неё шатается? – спросил Колька.

– Наверно, – ответил Сашка.

– А останавливается – тоже останавливается? Сердце?

Сашка смотрел на замершую курицу. Курица походила на бесколёсный велосипед... Честно признался – не знает.

А тут вообще увидели! Две большие чёрные овцы ходили вдоль забора и щипали траву. Но разом остановились. Тоже уставились на ребят. Как две большие швейные машины... Боязливо Сашка и Колька пошли было, но овцы шарахнулись, разметнулись в разные стороны. Перегородили дорогу. Смотрели на ребят. Глаза их были жёлты. Налиты. Как серьги... Сашка и Колька осторожно двинулись назад. Опять мимо курицы. Там швейные, здесь – бесколёсный велосипед! – Отшугнутая, курица порхнула в сторону.

В своем дворе Сашка, поглядывая на крышу дома, начинал гули-гулилюкать и вытаскивал из кармана заготовленную горсть семечек. В слуховом окне чердака сразу появлялась пара голубей. Сашка бросал семечки на землю. Падая, как фанера, голуби слетали. Начинали бегать, жадно склёвывать. Сашка подсыпал. Голубка была дикой породы, сизая. А голубь, видимо, – бывший домашний. Потому что цвета пёстрога и с горбатым гордым клювом. И крылья дёргались за ним, как за гусаром сабли. Оголодал гусар. Сашкин запас склёвывали быстро. Всё, говорил им Сашка, больше нету. Голуби ещё какое-то время поглядывали на Сашку: может быть, ещё найдётся? Нету. Тогда голубь начинал ходить вокруг голубки как помешанный. Круто втыкая хвост в пыль, – и протаскиваясь. Раздуваемый мокрый зоб его был набит трескучими камешками. Он в это время, верно, был очень опасен. И голубка приседала...

– Топчет, – говорил Сашка.

– Зачем? – спрашивал Колька.

– Яйца заставляет чтоб снесла... А потом пискуну появятся... Надо заставлять их, чтобы неслись... потому и топчет...

А голубь будто не мог зацепиться, трепеща крылышками, будто сваливался с голубки – и отпадал. Как будто он ни при чём. И срывал вверх, с паузами, очень весомо хлопая крыльями. И планируя толсто. Как дельфин.

– Вот. Он теперь доволен. Заставил... – говорил Сашка.

Потом сами поели у Сашки на втором этаже. Как сказала им Антонина – разогревали кашу. Гречневую. Брикетная каша за тридцать копеек в большой сковородке шумела полчищем. Сашка добавлял маргарину. Поджаривали долго. Колька любил «чтоб отскакивало». То есть чтоб «когда уже блохи».

После обеда опять продвигались по городу, наматывали ножонками, как самодвижущиеся часы. Самодостаточные. Которые могли на сколько угодно замедлиться, как угодно побежать.

Со страшными хлопками где-то вверху за деревьями пролетел вертолёт. Вертолет геологоразведки! Ребята рванули на площадь, чтобы увидеть. Но вертолёт уже низился с горы к Белой, как будто орёл тащил над горой корову, свалил с нею за гору, пошёл, видимо, там, над Белой... Жалко, конечно. Мало увидели...

Собор был таким высоким, что всегда падал с неба... Лучше не смотреть. Сашка и Колька отступали от стен. Крутили головами. Чтобы всё там на место встало. Из раскрывшейся высокой двери вышли человек десять кинозрителей. Расходились быстро. Не глядя друг на дружку. Точно в кинозале переругались. Фильм назывался «Кошмар в Клошмерле». Билетерша ждала у

двери. Пока из зала выйдет духота. Хмуρο покашивалась на Сашку и Кольку. Высокими двумя створками двери увела с собой высунувшуюся темноту. У Сашки и Кольки денег на «Кошмар в Клошмерле» не было.

Возле угла собора, кипя чириканием, в густоте куста протрёпывались воробьи. Как будто мыши в листьях ползали... Колька кинулся, саданул туда камнем – куст словно вздёрнуло с земли ударившей вверх серой тучей. «Зачем? Дурило?» – посмотрел на Кольку Сашка. Опять как отец. Как Константин Иванович. «А чего они... ползают?» – «Где ползают? Дурило?»

В сквере кругом висели шерстобитные тополя. Под ногами похрустывало пушистое белое одеяло... Колька втихара поджигал. «Зачем? Дурило?» – кидался опять Сашка, скорей затаптывал бегающие красные змейки. «А чего-о?» – тянул Колька: кидать нельзя-а, поджигать нельзя-а. «Для чего?! Зачем?!» – убийственные как бы ставил вопросы Константин Иванович. А если вдобавок Меркидома увидит – выскочит. Со своими пожарниками. «Да не увидит. Спят они все там...» Ребята смотрели в сторону пожарки.

А на деревянной каланче, наверное, последние метры перед сменой, как пойманный, ходил боец. Уже как ненормальный. Уже никуда не смотрел. Ни на какие пожары. Только ходил. Вокруг вышки. Выйдет из-за угла и уйдёт за другой угол. Выйдет – и снова ушёл. Мимо него пролетали только вороны. Снизу со двора, как из утробы, бодрил его Меркидома. Раз-два! раз-два! Вот, отмечал Сашка, не спят. Ещё как вылетят. На всех машинах. Опять шёл по скверу, по-хозяйски оглядывая его. Чистый Константин Иванович. Колька хмурился, спотыкался.

Когда уже возвращались домой вечером – Сашка увидел на автостанции отца. Константин Иванович выпячивался из автобуса с огромной картонной коробкой в руках. Телевизор! – догадались ребята и в следующий миг уже бежали... Константин Иванович, вытираясь платком, смотрел на поставленный на скамейку телевизор: может быть, на коляске, на Сашкиной, попробовать везти этого... дурилу. Не дослушав, Сашка и Колька полетели к дому как вихри.

По шоссе, в Сашкиной здоровенной детской колеснице коробка с телевизором тряслась и колотилась, как когда-то сам Сашка. Константин Иванович забегал с разных сторон, пытался унимать, удерживать, говорил, чтоб легче, легче, но железная колымага, казалось, сама подпрыгивала, без всякого даже участия Сашки и Кольки. Разбуженная после многих лет спячки, неостановимая, как лихорадка. И Кольке с Сашкой приходилось только цепляться сзади за её ручку и колотиться вместе с нею. И невозможно было унять! Но – доездили.

Телевизор этот больше смахивал на фотоаппарат на пенсии. Старинный. Из тех, что в ателье бывают. Уже без треноги. Отобрали. Который точно вяло вспоминал, что он там внутри себя натворил, понаснял за всю свою жизнь.

К пришедшей поздно вечером Антонине повернулось с десятков счастливых детских мордашек, как блины омасленных сизым светом, с готовностью образуя ей в полутьме комнаты просвеченный коридор счастья, в который она должна посмотреть на далекое крохотное светящееся оконце в тёмном углу, где что-то промелькивало, сдёргивалось и сплывало... Антонина так и села на табуретку.

Подошёл Константин Иванович. Деликатно потирая руки, посмеиваясь, начал было объяснять, что, почему, где и как, но Антонина помимо воли уже отстраняла его рукой, тем более что на экранчике мелькнуло что-то знакомое. Знакомое лицо. Точно! Он! Герман Стрижёв! Сосед снизу. Как он туда попал? Участвует в мотогонке. В кроссе. По пересечённой местности. Вот это да! Антонина всплеснула руками. Уже такая же дураковатая, как все. Блаженная. Уже родная всем, своя. Вот это да!

Между тем Стрижёв шагнул к мотоциклу. Это значило, что он уже выслушал всех представителей армии, партии и комсомола, ошивавшихся возле него, которые всё время молча

и серьёзно заглядывали в телеобъектив. С бобовыми вытянутыми лицами. Точно в неработающую комнату смеха... Итак, Стрижѣв выслушал их. Очень могуче Герман Стрижѣв начал надевать краги. Ну, он сейчас покажет всем, как говорится, кузькину мать! Вот Стрижѣв! Вот молоточек! – оживились юные зрители и с ними Антонина.

И – началось! И понеслись: по грязи, по ямам, по горкам, то страшной теснотой, прямо-таки клубками, то разодравшись в цепочку, круто заруливая на маршруте, парашютистами выпуливая из-за горок, тут же завязали в грязи, как инвалиды выделявали сапогами, помогая ревушим машинам, и неслись опять, и прыгали, и скакали. Где Стрижѣв – понять было невозможно!

И только потом, в самом конце – показали. Без шлема уже, с раздрызганным чубом, всё лицо в брызгах грязи – держит хрустальную чашу, вцепившись в неё обеими руками, и вкось так, как шакал, лыбится. Ну, Стрижѣв! Ну, молоточек! Первое место! Первый приз!

Уже на другой день Стрижѣв стоял перед Зойкой Красулиной. Стоял с охапками цветов, как всегда натыранных в горкомхозовском питомнике за городом. Как будто соскокнул со вчерашнего экранчика телевизора. Правда, без венка и чаши... Зойка цветов не брала. Зойка смотрела по улице вдаль. В ожидании своего Суженого. Тогда Стрижѣв начинал совать их ей. Как грузин на базаре. Зойка спокойно откидывала цветы на стороны. Как будто пряди своих волос. Мешающие смотреть ей вдаль и ждать своего Суженого. Ну что тут! Стрижѣв шёл к мотоциклу. На полностью пистолетных, вздрагивающих. Резко осёдлывал мотоцикл. Давал газу – пикой уносился за очередной длинной. Длинной девицей. Ребятишки на сарае горячо всё обсуждали. Зойка стояла, упершись в столб калитки, выставив колено, лузгала себе семечки.

Через полчаса Стрижѣв подпукивал на малых оборотах к Зойке. С девицей за спиной. Девица – выше шеста для гонянья голубей! Шеста с тряпками! (Ребятишки сразу на край крыши!) К Зойке будто продвигался цирковой аттракцион – девица верхом на мотоциклисте. На Зойку с разных уровней смотрели по паре глаз. Зойка не обращала внимания на подъезжающих. Зойка по-прежнему стояла, упершись в столб калитки, скрестив руки. Колено было выставлено. Как молодой череп...

Со страшным треском уносился назад к закату Стрижѣв, разбалтывая девицей на все стороны, вспугивая ею голубей со всех проводов над дорогой. Уносился с горя, конечно же, в дубовую рощу. Куда и канывал с мотоциклом, с девицей, как камень. Бу-уль!

Поздно ночью по двору продвигался, рычал мотоцикл. Фарой – как расстреливал на крыше сарая вскакивающих и падающих обратно в сон ребятишек. Один Сашка стоял, качался, заслоняясь рукой.

Мотоцикл бурчал в сарае, тряся свой свет. Сашка продолжал стоять на сарае. Как будто на работающем, освещенном снизу аэроплане, готовом побежать, готовом ринуться в ночь... Но мотор глох, свет выключался.

– Чего не спишь, Село? – спрашивал из темноты довольный голос, переплетаясь с журчащей струей.

– Не спится, дядя Гера...

– Сколько тебе лет, Село?

– Десять. А что?

– Та-ак, – тянул Стрижѣв, пуская заключительное, последнее. – Мал еще... Ничего не знаешь...

– Чего не знаю, дядя Гера?

Стрижѣв не ответил. Шёл к дому, застегивался. Подкидывал себя на пистолетных легко, пружинно, гордо. Как многие мужчины после оправки.

– Спокойной ночи, Село!

– До свидания, дядя Гера!

Сашка ложился. Закидывал руки за голову, смотрел опять вверх. Возвращалось то, что спугнулось мотоциклом Стрижёва.

... Сначала они с Колькой беспечно мотались по голому двору самой ветеринарной станции. Глядели вдоль невысокого забора с поваленным уже, ржаво-перегоревшим бурьяном. Была осень. Почему-то думалось, что раз ветеринарная – то должно много всяких костей от животных валяться. Как от домашних, так и от диких. (А зачем, собственно? Валяться? Ну, просто так. Ветеринарная же.) Никаких костей однако видно не было. Ни вдоль этого забора, ни вдоль дальнего, где уже был спуск к изрытому картофельному полю.

Долго смотрели в обширную котловину с набившимися дымящими тучками, похожую на гигантское гнездо с синими, давно охрипшими птенцами...

Вернулись оттуда назад, к бревенчатому дому самой станции, стали смотреть, как дяденька ветеринар готовится лечить лошадь.

Кобыла стояла, словно бы – готовая к чему-то. Раздутая, подобно корзине.

Пока суетливые мужички заводили её в станок, пожилой этот дяденька ветеринар держал засученную белую сильную руку в жёлтой перчатке – как свой рабочий инструмент. Кверху. Посмотрел на ребят. Ребята кивнули, ужавшись до размеров стебелёчков. Буркнул что-то, отвернулся. Строгий. Он был завёрнут во весь рост в прорезиненный фартук. Подошёл к кобыле сзади...

А дальше было невероятное, неправдашнее...

Он запустил в кобылу руку почти по плечо! Он переворачивал что-то внутри кобылы, пихал, торкал, точно на место, на место утапливал! Лицом ветеринар прижался к шерстяному боку лошади. Глаза его напряжённо промаргивали в очках с одним колотым стёклышком.

Кобыла, взятая в станок да вдобавок одерживаемая со всех сторон мужичками в кепках, вздёргивала глаза испуганно и больно. Всхрапывала. Зад её приседал от боли, она стеснительно пружкала вокруг руки ветеринара. «Ну, ну, милая! Стой, родная, стой!» – тихо бормотал ветеринар. Ветер шевелил, дыбил седые клоки его волос. Вместо дужки на очках – засалившаяся резинка оттопырила пельменное ухо его. «Держите, мужички, держите!» – всё бормотал тихо ветеринар. Мужички старались, одерживали со всех сторон. Стоптаные сапоги мужичков теснились, сталкивались как бобышки...

Потом, покачиваясь, ветеринар кистью руки отирал пот со лба. Вынутая из кобылы рука висела как окровавленный мазок. Он содрал перчатку, бросил на табуретку в таз. Толстая тётя в халате, завязанном сзади, стала ему поливать из большого эмалированного кувшина. Он мыл руки и что-то говорил мужичкам.

Кобылу уже вывели из станка. Вся мокрая, она часто, освобожденно дышала. Один дяденька, держа под уздцы, поглаживал её, успокаивал. Потом лошадь повели куда-то, а ветеринар всё мыл руки и говорил уже тётьке. И тётя эта – смеялась. «Да ну вас, Сергей Ильич! Да ну вас! Скажете тоже!» В халате своем она была как капуста...

Что делал с лошастью этот дяденька ветеринар? Зачем он залезал в неё рукой по локоть? По плечо? Почему всё это было так кроваво, жестоко...

Единый с чёрным ночным ветерком, как часть его, посапывал рядом спящий Колька. Сашка смотрел на холодные звёзды, и казалось ему, что это стынют слёзы всех на свете людей... Он словно предчувствовал, что скоро что-то должно потеряться для него, потеряться навек, никогда не вернуться... Звёзды начинали вспыхивать, мельтешиться, гаснуть, и Сашкины глаза закрывались.

По утрам, словно осыпаясь саблями на землю, из-за сопки к Белой выходило солнце. Поле одуванчиков на склоне горы начинало сразу просыпаться. Плоские туманцы стаивали как простыни. Между одуванчиками образовывались и повисали города лучей. Многоцвет-

ные, всё время меняющиеся. Одуванчики как будто выказывали перепутанные калейдоскопы друг дружке... Потом прилетал первый ветерок, и они трепетали на длинных ножках, лёгкие в сферическом своем сознании, не обременённые ещё ничем земным, смеющиеся, радующиеся солнцу. Свободные и вольные в своем небольшом, замкнутом пространстве...

Уборная Дома инвалидов расшиперилась наверху, рядом с полем. Это – если смотреть с реки. Экскременты слетали с самой верхушки горы прямо в овраг... Одуванчики словно бы не знали об этом. Одуванчики пошевеливались на длинных ножках. Одуванчики трепетали в ветерке, радовались солнцу...

Кобелишка старался. Сука попалась очень высокая. Сперва он прыгал на неё с крыльца аптеки, с первой ступеньки, будто оседлывал лошадь, везя на её зад, но сука неожиданно сама стала, и он, загнувшись, вцепился, наконец, радостно заработал. Подпрыгивали, выбивали чечётку на щербатой половичке задние ножки. Только бы стояла. Кабысдох поторапливался, вытрясывался красным язычком. В полном одиночестве. Без соперников. Повезло. Надыбал или начало течки, или её конец. Старался. Иииээээх!

У суки была узкая жалкая морда. Обвисла она той самой печальной терпимостью, которая бывает только женского рода. Которая всему миру как бы говорит: ну что ж, я покорна, раз есть у меня там это что-то сзади, то всегда найдется кто-то на это что-то... Может быть, так и нужно для круга жизни. Ещё как! ещё как нужно! – трясса кобелишка.

И – вот они! Конечно! Сашка и Колька! Из проулка вышли. И – как остолбенели. И не то чтобы впервые увидели такое, а как-то другими глазами...

– Топчет, да?.. – спросил третьеклассник Колька.

Сашка уже перешел в пятый. Сердце его странно толкалось в груди...

– Да нет, вроде...

– А чего? Заставляет, да?

– Да не знаю я! По-другому у них всё...

Кобелишка в последний раз вцепился, загнулся изо всех силенок и сверзился, уже зацепленный. Как снырнул с суки, оказавшись на передних только лапках и в другой стороне. И застыли они. Как уродливый тянитолкай. Она на север, он глубоко понизу – на юг...

– Чего теперь? А?

– Не знаю...

Тут откуда-то появились на дороге пацанишки. Резвенько бегущие. Выселские. Шпана. И увидели:

– Склезились! – Сразу засвистели камни: – Бе-ей!

Сука испуганно кинулась в приоткрытую калитку аптеки. Повязанный с ней кобелишка замолотился в досках, завзвизгивал гармошкой. Улетел за калитку. Камни застучали по калитке. Сашка и Колька начали вышагивать возле аптеки. Как и собаки – метаться. Сразу забыли все дороги. Но выселские прокатились мимо и дальше уже чесали. Глазёнки выселских были шальные, знающие. Весёленькие в онанистических своих слёзках. На встречных женщин выселские поглядывали, посмеиваясь нагленько. Разоблачающе. Дескать, знаем мы про вас, сучки! На вас всех надо ... с винтом! Гы-гы-гы! Женщины возмущённо, испуганно передёргивались, невольно оборачиваясь, спотыкаясь. Как будто мгновенно обворованные, мгновенно раздетые. А выселские убегали. Всё похохатывали. Потрясывались кукайшками. Давно грязными. И лихо матерились.

А на другой день этот городской калейдоскоп точно кто-то поворачивал на несколько градусов. Уже другая группка пацанят в нём чесала, по другой дороге, вдоль реки. С удочками группка. Серьёзная.

Вдоль крутых бережных взгорьев тянулись прочерневшие от старости дома, слезящиеся, как старики. Возле одного дома на скамеечке сидел настоящий старик. На фоне чёрной стены – как живой сахар. Опирается он на палочку, видит, как по улице Ребятёшки чешут. С удочками все и кепками торчком. – Как будто тесный, с поплавками клёв бежит по дороге... Старик смеётся. Не выдерживает, кричит дрожащим голосом: «Эй, ребяёшки! У вас клюёт-от!»

Рыбаки останавливаются: где клюёт? Оглядываются кругом. Смотрят на старика. Старик совсем заходится в смехе. Белый, он как будто смеётся в последний свой раз... «Клюёт-от!» – взмахивает он рукой. Словно уже без воздуха от смеха. Станный старикан... В неуверенности группка начинает набирать скорость. Отворачивается от старика. Бежит. – Как будто опять начинает танцевать на шоссе небывалый клёв.

Сашка бежит. Сашкин свитой чуб трясется. Сашка серьёзно поглядывает из-под чуба. Сашку, как матку преданные пчёлы, окружают огольцы. Теснятся к нему.

Как всегда страшно тарабанясь, над забором выпулывала удивлённая головёнка:

– Село, вы куда?

– На Белую, – коротко бросал Село.

– По-бакальному рыбачить, да, Село? По-бакальному? – Малец уже бежит рядом. Малец уже уточняет, сам – как маленькая баклешка.

– По-бакальному, – коротко подтверждает Сашка. По-бакальному означало: удилишко, леска, кусочек пробки, крючок-заглотыш, на крючке муха обыкновенная. Пойманная с вечера быстрой пригоршней. И – по-бакальному. Только лески утреннюю заводь стегают. Рыбачки все – как пригнувшиеся пауки, выпулывающие свои паутины. Вщить! Вщить! Вщить! «Куда? К-куда закинул?!» – «А чего-о, это моё место!» – «Я тебе дам моё-о!..» Где у одного только клюнет – сразу все туда. Без грузил хлестаемые о воду пробки только успевают просвистывать как шмели. Куда-а?! Я тебе да-ам!.. Это – по-бакальному.

К обеду разводили костерок и совали к огню потрошёных баклешек. Прутики быстро обгорали, ломались, баклешки падали в золу. Обгорелых, полусырых, без соли, их ели, кидая с руки на руку, восхищенно мотая головёнками. Губы и пальцы становились клейкими и чёрными как после черёмухи. Некоторые забредали в реку отмывать. Другие на гольце лежали так, усатыми. Закинув руки за голову, поматывая с ноги ногой, – ленились. Река блёсткала как селёдка. Кучевые облака расставлялись над ней будто государства. Большие, малые, совсем малюсенькие.

Потом купались. Ложились на горячий песок. Загорали. Сидели, упершись руками в песок. С опечатанным песком грудками. Как золотящиеся песочные часы под солнцем. С криками бежали в воду. Нырjali, играли в догонялки. И снова сидели под высоким, необъятным синим миром рядом песочных золотящихся часов. Смотрели, как за рекой протягивало бело-цинковые косы ив, как вверх по реке, зарываясь в течение, словно спиной уталкивался буксир.

Ветерок гнал по реке мелконькое маслоцо волн. Возле берега похлопывали в нём две коричневые железные баржи, стоящие в караван, «Бирь» и «Сим».

Володя Ценёв, шкипер «Сима», побывав в «Хозяйственном» и на базарчике рядом, всходил на баржу с ящиком денатурата и ведром картошки. Под мощной поступью Ценёва трап качался почти до воды, как пластмассовая линейка. Потом Володя выходил из камбуза и, уперев руки в бока, оглядывал пустую палубу «Сима». Словно прикидывал, чем и как её можно загрузить. Обритая жёлтая голова его имела форму тяжёлого снаряда. Тельняшка – была как консервы. (Консервы, естественно, моря.) О брюках и говорить нечего. Раструбы. Диаметром в пятьдесят сантиметров.

Ближе к вечеру он надевал на голову мичманку, поверх тельняшки пиджак и шёл в город, в артель инвалидов. Тапочек, как он их называл. С двумя бутылками денатурата, торчащими из карманов клёша.

Возле дров на корточках в перекуре грузчики-бичи смеялись: «Володя пошел Тапочки Шить!»

Поздно вечером, лежа у костра возле своих дров, как возле колеблющихся призраков работы, едва завидев Володю с инвалидками, они кричали: «Порядок! Володя Тапочки Сшил! Молодец!» Хохотали, запрокидывались со своими портвейнами.

Под этот хохот и крики, мощно, с двумя Тапками под мышками всходил на баржу Володя Ценёв. Громко пел. Висящие Тапочки повизгивали над водой, подёргивали жиденькими ножками. Поставленные Володей на палубу, торопливо колыхались за ним. Как будто ехали на осьминогах. Володя брал их по одной и складывал куда-то в трюм. С фонарем «летучая мышь» сам лез... И словно Водяной со дна реки начинал трубить в пустую баржу как в рог!.. Бзууууу! Бум-бум-бум! Бзыуууууу! Бум-бум-бзыуууууу!

В нетерпении пацаны кидали камни. Как только баржа утихала. В железный борт... И вновь внутри начиналось что-то невообразимое!..

Сашка Новосёлов не кидал камни. Сашка Новосёлов отворачивался от баржи. Смотрел, как от хохота расплёскивают свои портвейны бичи. Как их голые толстые пятки топчут низкое небо. Потом шёл домой.

Колька догонял, вязался с разных сторон. «А чего ты? Из-за Галы, да? Из-за Галы?..»

Сашка молчал. Уходил с берега. К горе, где было поле одуванчиков. Колька приноравливался к шагу его, сочувственно вздыхал.

В прошлом году, тоже летом, у Чёрной и Мылова появилась в квартирантках придурковатая девка Галька, лет восемнадцати-двадцати, с фигурой однако сорокалетней, матёрой тётки. Когда она проходила по улице – здоровенная, перекатываясь громадными мясами под тонюсеньким, готовым лопнуть ситчиком, – мужичата на скамеечках сразу обрывали разговоры и с духаристой прикидочкой мотали головами: тов-ва-ар! Мяса-а! Поворачивались к Мылову. Как к хозяину квартиры. За разъяснением. От перевозбуждения Мылов сначала только цыргал. Сквозь зубы на землю. Как кресалом давал. Потом хитро зашуривался. Он, Мылов, знает тайну. Неведомую другим. Тайну не только про эту девку, ставшую к нему на квартиру (что девка!) – вообще секрет про всех женщин. Про баб, значит. Глубинный. Про их тайну, если по-русски. Про их Деталь. Которую затронь, значит – и... и, значит... Руками Мылов начинал как бы натягивать вожжи. И цыргал опять, цыргал. Как пустую искру на землю высекал...

На другой день, подпустив во двор эту не совсем нормальную девицу, Чёрная злорадно наблюдала из окна, как та ходила по двору и всем обитателям его от четырёх до восьмидесяти лет объявляла, что она Деушка и что называть ее надо Галой. Не Галькой, не Галей, а именно Галой. Подходила и каждому втолковывала. Гала. Гала я. Деушка. Обитатели двора в растерянности улыбались. Не знали, что ответить. Странно, конечно, это. Но кто же спорит? Гала так Гала. Охота быть Галой – будь. А она поворачивалась уже за Стрижёвым. Как распадающееся солнце. Плеща руками. Офице-ер. Краса-авчик. Стрижёв точно никак не мог обойти её. Пройти к своему разобранному мотоциклу. Присел, наконец, к деталям: корова! А Колька Шумиха, увидев, как Гала плывет к крыльцу теряющим сознание пухом (Офице-ер!), увидя воочию её ляжки, не прикрывающиеся сзади платьем – с испугом произнёс: «Как облака уплывают... Облакастая Гала... А, дядя Гера?» Но Стрижёв только буркнул ещё раз: к-корова! Как глубоко обиженный, оскорблённый. Не соображал – что за деталь у него в руках. Куда её.

Чтобы перехватить теперь офицера Стрижёва (красавчика!), стала дежурить по утрам за воротами. Спиной прижимаясь к ним. Прямо-таки распластываясь. Затаивая дыхание, хихикала. Чтобы выскочить потом девочкой: а вот она я! Гала! И засмеяться. Стрижёв выглядывал

на улицу из окна по-военному – быстро. Один раз. Достаточно. Полудурья. Стоит. Позорит. Через минуту трещал забор. Но тихо. За дальними сараями. Порядок. Обходной маневр. Гала ждала. Раскинув руки по воротам. Дышала глубоко, мощно. Платье свисало как обширная листва дерева.

Гала работала на хлебозаводе и ходила на танцы. У Галы была подруга Вера из Дома инвалидов, очень худая и раскосая девица. Ноги у Веры походили на две клюки – не сгибались во время ходьбы. Очень интересную походку имела Вера. Вечером, как только духовой оркестр призывно взмывал над притихшим городком, Гала и Вера облизывали губную помаду, надевали белые носочки под чёрные туфли на широком каблуке и шли в городской сад на танцы.

На танцах Гала знакомилась так: дёрнет за руку мужичонку к себе и выдохнет: «Я – Гала!» И начинала с ним весело ходить под фокс. Подруга Вера в это время ловко убегала на клюках. Тубист косил. На ляжки Галы. Брошенные в мундштуке губы выделявали сами по себе. Как жабы. Четверо трубачей меланхолически залюбливали к небу. Ляжек Галы видеть не могли. Видели их только в паузах. Когда начинали бомбить по низам баритон и туба. Но это шло недолго, приходилось снова подхватывать мелодию, меланхолически залюбливать её к пустеющему предночному небу.

Уже за полночь, когда луна чистенькой чепчиковой старушкой, кряхтя, забиралась в прохладное облако и читала на ночь газету... с танцев домой возвращалась Гала. Чёрной тенью без лица и голоса к ней пристегнут был какой-нибудь мужичонок. А к чему лицо, к чему голос? Гала сказала: ваш намёк поняла. Так что теперь ихх! как бы.

Перед воротами останавливались. Гала говорила: «Ой, чё-й-то холодно сегодня... А?» Как бы тоже намёк давала. «Дык навроде да, – поспешно отвечала мужичонка тень. – Бывает... к примеру как бы...»

А на сарае во дворе уже слышали, уже возня поспешная, и шесть-семь головёнок выкачиваются на край крыши, на первый, так сказать, ряд. (Сашка Новосёлов пытается урезонивать, пытается отгаскивать, вернуть всё назад: давайте рассказывать, дальше рассказывать, ну её! Не тут-то было!) Открывается калитка, и во двор, как в сизый сон, всплывают Гала и мужичонок. Останавливаются. Гала молчит, смотрит на луну. Мужичонок тоже молчит, куда смотрит – не видно. Потом как посторонние, будто нездешние, вытягиваются друг к дружке губами и – чмок! Как если стрелу с присоской от стены отдерёшь – такой звук. На крыше оживление: это уже был поцелуй, для начала ещё. Невинный, ангельский, пресловутый как бы. Дальше, дальше, Гала, давай! (Сашка снова начинал – его не слушали.)

Гала хватает мужичоку в охапку и впивается в него губами. Точно вытянуть у него все внутренности – такая задача. Все как есть – до последней кишочки! Но сколько ж можно вытягивать: минута, другая вон пошла. Наконец головами замотали, замычали и будто из пустой шампанской пробку выдернули: бздуннн! – расшатнулись. Мужичонок стоит, вибрирует, явно не узнает двора. Это поцелуй уже серьёзный. Любовный. Как в кино. Ребята видели не раз. Серьёзный поцелуй, чего тут говорить.

А Гала опять хватает мужичонка и, мыча разъярённой немтой, начинает жевать его лицо. Натурально хавать! Мужичонок откинулся, изогнулся, вот-вот переломится, зигзаг тела, однако, держит, изо всех сил блюдет: положено! И вдруг вообще рванулись гранатой! Мужичонок оглушён, потрясён до самого дна, до самой последней кишочки – стоит, головой трясёт, как после контузии. Такое пережить! Так-кое! И они, как быки на бойне, получившие колотушкой раза хорошего в лоб, медленно идут заплетающимися ногами, качаются, вот-вот лягут на землю. Но тут – крыльцо...

Гала валится на крыльцо, выпускает облака и глубоко говорит в ночь: «О-о-о-о-у-у!» Аж луна испуганно высовывается. Также из облака! Мужичонок засуетился. Что-то с брючонками у него там. Над сараем – кошачьи перископы. Как по команде, натягивались рогатки. Коман-

дир-пацифист Сашка метался, бил по рукам, не давал стрелять. Не смейте! Рогатка Кольки шлисскала-таки. Камушек летел метко. Словно взрывал рёв полудурьи. «Ах ты, паразит проклятый! Ты опять меня-а!» Полудурья отбрасывала мужичонку. Медведем неслась к сараям. «У-убью-у!» С треском упал штaketник, оказавшийся на пути. Покатилась, матерясь, возится на карачках. Ребяшня сыпанула с сарая – и дай бог ноги!

Потом на улице ребят как-то странно трепало, они икали, подхихикивали, больно сводило животы у них.

В другую ночь всё повторялось: Сашка метался, не давал, команда не подчинялась, шлисскала рогатками – и осыпались все с сарая, чтобы драть куда глаза глядят.

Как всегда распластавшись, вися на воротах деревом, Галя медленно, обиженно выжёвывала проходящей Антонине: «Я вашему Сашке яйца повыдавлю. Как его поймаю». Антонина бледнела: «Только попробуй, мерзавка! Только попробуй тронь! Пальцем!» Антонина шла во двор, вся колотясь. «А чего он пуляется-а?..» – закатывая глаза, всё жевала полудурья, продолжая висеть в воротах. Как будто на кресте.

Дома Антонина всверливала, всверливала кулачок в упрямый затылок Сашки. Косясь на раскрытое окно, всверливала. Свой страх, свой ужас. «Она же ненормальная! Она же на учёте в психбольнице! Ей убить – раз плюнуть! Ей же ничего не будет! Понимаешь ли, осел ты этакий!» Выдохалась. Лихорадочно искала ещё чего бы сказать. Как последним доводом, всверливала опять в мотающуюся голову с чубом: «Её Стрижёв боится! Стрижёв! Офицер! Через заборы прыгает от неё! Понимаешь ты это! Стрижёв!..» Падала на стул, в безнадежности начинала плакать. И отец опять не едет! Опять не едет! Слёзы струились по лицу её будто жиденькие локоны. Сашке всю душу выворачивали. «Ну, мам, не надо... Не буду я... Да и не я это... Ребята... Не слушают меня...» – «И чтоб не спал больше на крыше, слышишь! чтоб не спал!» – стучала кулачком в колено. Некрасивая, слезящаяся... опять вся как жидкие локоны... «Слышишь!» – «А Колька?..» – «И Колька, и Колька! Я видела у него рогатку, видела! Сегодня же Калерии скажу, сегодня же!» Глаза её вдруг точно сами стали подвешиваться к потолку: «Она же убьёт, понимаете, убьёт!..»

Сашка не стал спать на крыше. И Колька, понятно, тоже. Получив вдобавок от матери, от Калерии, хорошую взбучку.

Но рогатки и без них стрелять по ночам продолжали.

От июльских, уходящих пыльными стадами закатов, словно услышав мольбы к ним Антонины, приезжал Константин Иванович. Последний автобус, подсвеченный солнцем, голенастый, вытянуто искажённый, прыгал и прыгал от этих закатов к городку – как будто вечный какой-то, с поехавшей крышей комар скакал за своей недающей, упрыгивающей тенью.

...В тихой радости суетились, прятали друг от дружки глаза. В гаснущей с закатом комнате не включали света. Константин Иванович выкладывал продукты, Антонина бегала на кухню, чтобы там греметь кастрюлями, один только Сашка стоял в недвижной радостной растерянности колокола, ожидающего, что сейчас в него зазвонят. Безотчётно передвигал по столу свёртки, банки, которые выкладывал и выкладывал отец.

– Что же свет-то не включаем? Что же свет-то?.. – Антонина щёлкнула выключателем, замерла на миг, как будто пойманная в своей радости, и снова убежала на кухню, пряча свое счастье.

Счастливым неудачником сидел Константин Иванович за столом в ожидании ужина. С взволнованной улыбкой смотрел на скатерть. Словно заверял себя, что он, неудачник, счастлив. Да, счастлив. Счастливый он неудачник. Украдкой оглядывал комнату. Как будто не был в ней сто лет. Потом что-то говорил, о чём-то спрашивал Сашку. Во все глаза Сашка смотрел на отца...

Они смотрели, как он ест, как, нахваливая щи, мотает белым костром волос и закатывает глаза. Ммммм, щи-и! Они смеялись.

Уже в темноте, лёжа в простенке своём на диване, Сашке не казалось странным, что взрослый мужчина лежит на кровати рядом со взрослой женщиной. Что на одной кровати они. Наоборот. Находясь под долговременным, тянущимся годы и годы семейным гипнозом, Сашка по-семейному и радовался, что отец лежит на кровати рядом с матерью. Что вместе они. Сашка посматривал в сторону кровати, улыбался. Потом уснул.

Спала и Антонина, охватив грудь мужа как землю обетованную. Константин Иванович боялся шевельнуться, глубоко вздохнуть. Потом осторожно перекладывал голову жены на подушку.

Курил у окна. Над двором в облачках протекла луна. Двор трепетал как сеть. Приблудная собачонка у дальнего забора влаивала, не узнавая луну, сердилась.

Тут послышался какой-то шлепок. Под окнами, внизу. Точно что-то шлёпнулось в тесто. Поспешная яростная там возникла возня. И впервые увидел Константин Иванович, как какая-то бабища с проворностью медведя побежала, покатила к сараям, глухо матерясь; как от неё, точно от суки кобелишка, отрывался, отлетал тщедушный мужичонка; и, наконец, как по крышам сараев пошли скакать голоногие ребятишки... Взвизгнула отпнутая собачонка, затрепещал забор от взметнувшейся туши – и всё ухнуло за забор: «У-убью!» Покатилось там уже где-то, по-прежнему матерясь. Да что же это такое! – удивился Константин Иванович. Как и брошенный мужичонка, который так и остался во дворе. Потрясённый, растарашенный, как таратайка... Константин Иванович хотел было попенять ему, мол, как же так мужик? Неужели другого места не нашли?.. Но почувствовал беспокойные, словно лунатические руки жены, которые начали заговаривать его, умолять и которые увели его от окна.

На другой день, в воскресенье, он сидел за столом с другом своим Колей-писателем и, точно упрямо убеждая и его, и себя, вёл такой разговор: «...Да мы привыкли жить! Привыкли! Просто привыкли – и всё. А где привычка – там уже скука, занудливость. Возьми вон Сашку. (Константин Иванович мотнул отогнутым большим пальцем на раскрытое окно, в сторону сараев, где Сашка с пацанами в это время скакал куда-то по крышам, куда-то прокрадывался.) Его вон возьми – для него каждый день внове, каждый день событие, а то и праздник. Он не привык ещё. Он вот не говорит, что жизнь летит – не остановишь. Ведь по сути человек живет очень долго: пятьдесят, шестьдесят там, семьдесят лет. Ведь это очень много лет и... мало. Для нас мало, понимаешь? Мы привыкли. Не замечаем, как жизнь пролетает. Вот в чём парадокс! Прожить жизнь – это искусство. А много ли ты помнишь дней из зрелой своей жизни? А вот он... (Константин Иванович опять помотал большим пальцем, как загнутым мундштуком трубки, в сторону сараев, где по-прежнему наблюдались какие-то пригнувшиеся перебежки, прыжки... В войну, чертенята, играют, улыбался Константин Иванович.)... Да... а вот он помнит. Потому что привычки ещё нет... А мы... целые месяцы, какой! – годы как в тумане. Куда делись – ведь жил же, чёрт побери! А их нет – исчезли как и не было... И вот листаем только календари. Листочки обрываем... А вот он...» Константин Иванович хотел было опять помотать отогнутым... но взглянул на друга...

Коля слушал невнимательно, поддакивал невпопад. Однорукий, напряжённый, удерживал уцелевшей левой рукой стакан. Всё время прислушивался. К раскрытому окну. Только не к тому, куда указывал всё время Костя, а к другому, окну своей квартиры, невидимому отсюда, которое соседствовало с окнами Новосёловых по стене, откуда доносилось что-то неприятное и злое – там, в комнате, что-то двигали и ударяли... «Коля, да брось ты, в самом деле, – хмурился Константин Иванович. – Что же тебе – с товарищем поговорить нельзя?.. Чай ведь пьем...» Коля посмотрел на стакан в своей руке, стиснутый им, до побеления пальцев – точно, чай, поставил его на стол, рассмеялся. «Да понимаешь, Костя, обиделась она на меня маненько.

Маненько обиделась. Да. Вот и... бушует...» За стеной что-то снова провезли и ударили. Прямо в стену. Константин Иванович постукивал пальцами по столу. С укоризной почему-то, даже обиженно поглядывал на жену.

А та давно уже ничего не слышала, кроме этой демонстративно-злой возни за стеной. Пригнувшись, напряжённая, готова была заплакать. Торопливо протыкали пряжу спицы. Пряжа металась в руках её точно терзаемая усатая мышь. Вдруг всё за стеной смолкло. Разом. Это даже удивило всех. С облегчением Константин Иванович хотел продолжить рассуждение, вновь точно возвратился к дорогому, светлому, затыкал было опять пальцем на окно... но вскочила жена и завытягивалась взглядом за него, Константина Ивановича. Куда-то в сторону сараев. Тоже посмотрел. И начал приподниматься: что такое!

А в углу двора, возле помойного ящика, некое действие, получив поощрение, на виду у всего дома шло уже к своей кульминации, набирая наглядную остроту. Мылов с расстегнутой шириной растопыривал руки. Мылов старался уловить Галу. Загнать её, значит, в угол. Но – упал. Улетел за ящик. Стал невидим. С крыши сарая за ящик тут же посыпались камни...

Сама Гала продвигалась уже к дому. Ноги её елозили. Одна о другую. Она смущённо-радостно отягивала платье книзу. Коммунальные потрясённые зрители по окнам раскрыли рты. Не видя друг друга, в своих амфитеатрах вели себя по-разному. Шло несколько разных действий одновременно в окнах первого и второго этажей. Если, вся подавшись вперёд, в окне первого этажа замерла Чёрная, жена Мылова, и глаза её горели глазами ловчего, промазавшего соколом за помойкой, стремились всё вернуть назад, на новый круг, чтоб, значит, снова вдарить соколом, то Алла Романовна в окне второго этажа, прямо над Чёрной, в это время закидывала головку и принималась трепетать со сжатыми кулачками. Если в соседнем окне Константин Иванович уже вырывался из рук жены, чтобы бежать и жестоко наказать мерзавцев, то Коля в той же комнате, Коля, муж Аллы Романовны, высовывался из окна, отделённый от самой Аллы только стенкой, и любознательно и близоруко вертел очкастой своей головой: а? что? где? что такое? Что произошло?..

Константин Иванович выбежал из подъезда. Быстрым шагом пошёл, побежал к помойке. Пинал, гнал Мылова к сараю. Мылов точно разваливался, терял всё на ходу. Константин Иванович запнул его в сарай, захлопнул дверь... От злости теряя голос, проваливаясь им, что-то выговаривал толстой шлюхе. Девка хихикала, как бы смущалась... Позвал Сашку. Не мог смотреть на сына. Сашка тоже уставился себе под ноги. Пошли домой. С крыши бесшумно прыгивали мальчишки.

А вечером, вернее ночью, рогатки с сарая стреляли ещё интенсивней, ещё дружней. Камушки впивались в облакастую со шмякающим звуком разбиваемых о землю дождевых червей. Облакастая взрывалась: «А-а! Ты опять меня-а!» – упорно держа в кретинском уме своем Сашку Новосёлова – обидчика, врага, не дающего ей любить с мужичатами. И неслась к сараям. «У-убью! Яйца повыдавлю!»

Тем временем Сашка, ни сном, ни духом не ведая о том, что с ним собираются сотворить, безмятежно спал в своей комнате на втором этаже, в уютном простенке между двух окон. А его родители в это время, вскинувшись на локти, напряжённо слушали укатывающийся глухой мат, треск забора и ухавшее затем с забора будто в яму – у-бью!

Глаза Константина Ивановича походили в полутьме на взведённые курки. Он хотел встать и выйти, наконец. В последний раз выйти. Но Антонина не пускала, не давала уйти от себя, шёпотом заклинала «не связываться», и он уступал, сдавался, опустошённо падал на подушку. Гладил на груди у себя плачущую голову. Снова приподнимался со взведёнными. И вроде даже «жахал»: «Завтра же в милицию пойду!» – Но не пошёл. Ни завтра, ни послезавтра...

Был душный, как топлёное молоко, предгрозовой полдень. Солнце слепо словно распятый птенец.

Сашка и Колька собирали возле сарая воздушного змея. Колька зашёл в сарай за чем-то. Сашка остался на корточках у разложенных на земле палочек, дранок, прикидывал, что и как... Полудурья подкралась к Сашке сзади. Схватив в охапку, затащила за сарай. Голову его ударяла о доски сарая. Пинала коленищами в грудь, в живот, в пах. Вышедший Колька – увидел. Подвывая, побежал неизвестно куда. Прибавлял и прибавлял ходу.

Полудурья брезгливо отшвырнула от себя опавшего парнишку, вышла из-за сарая и, воровато оправляя платье, быстро пошла к воротам. С трудом дотянулся до увесистого камня Сашка. Качаясь, поднялся на ноги. Сашка метко кидал камни. Камень ударил по башке вскользь, сдёрнув шматок кожи с белесыми волосёнками. Облакастая схватила за голову, увидела кровь в своей руке и свиньей резаной завизжала: «У-уби-ил! Ма-амоньки! У-уби-ил! Милицинеры-ы! У-уби-или-и!»

Повыскакивали из дома люди. Сашка, хватаясь руками за бок, поковылял к забору и перевалился в соседний двор.

На яру над Белой, уткнувшись в колени, он звездился в хлынувшем, наконец, дожде – как весь сжавшийся, сгорающий изнутри одуванчик.

...Вечером перебинтованная полудурья приводила к Сашкиным родителям участкового Леонтьева. Константин Иванович бросился со скалкой. Полудурья катилась по лестнице, визжа. В дверях низенький Леонтьев изо всех сил удерживал рвущегося поверху Константина Ивановича, яловые сапоги Леонтьева топались, плясали, искали опору. И тут же подвывал, выплясывал голыми ножонками забытый всеми Колька.

Сашку нашли поздно вечером. Там же на яру, над Белой, где он и просидел всё это время. Подняв, обняли, повели домой. Константин Иванович закидывал голову к небу. Словно ничего не мог понять там, ничего не мог там разобрать...

Пузатый чемодан, перехлёстнутый белой верёвкой, Мылов выставил утром демонстративно – на крыльцо. Пожалуйте, мамзеля! Ожидал сбоку. Пока выйдут, значит. Лицо его было преисполнено выстраданного смысла. Похудело даже. Удружили. Спасибо. Полудурья вяло послала его, пошла. С чемоданом, с клюкастой Верой.

На улице Зойка Красулина злорадно закричала: «Что, лярвы, попёрли вас, ха-аха-ха!» Облакастая остановилась. Думала какое-то время. Перебинтованная, в тюрбане – как турок. И, повернувшись к Зойке спиной, вздёрнула платье, по которым ничего не было: вот тебе! вот тебе! вот тебе! Зойка хохотала. В долгу не оставалась: «М.... сперва выстирай! Шалава! Ха-ха-ха!» Вера стояла с чемоданом. Как ударенная по голове. Будто сооротив в ней кривой дом... «Ха-аха-ха! Вот полудурья!»

Гала и Вера уходили по улице. В своих окнах беспокойно подпрыгивал Стрижёв. Над геранями. Как над пересохшими кукольными театрами. Зойка и ему кричала: «Выходи, герой! Смело! Теперь можно! Теперь можно через заборы не прыгать! Хах-хах-хах!»...

...К полю одуванчиков они пробирались сейчас по бурьяну снизу от Белой. Было видно, как далеко позади к кострам всё выползали и выползали бичи. Красные, как раки. На барже пьяные давала зигзаги «летучая мышь» самого Ценёва. Баржа как будто курила сигару... Колька сказал, карабкаясь за Сашкой, что в прошлом году поля одуванчиков не было, а в этом году – есть. Правда? Сашка, равномерно всходя, раздвигая бурьян, согласился с ним: правда, хорошо, и никто не знает. Точно! И никто не знает, обрадовался Колька, одни мы, правда, да? Правда, Коля, правда. Передохнули маленько, глядя на далёких пьяных красных бичей, как в молитве ползающих возле костров перед дровяными своими призраками работы... Снова начали подыматься, чтобы взять последние метров тридцать-сорок.

В темноте одуванчики казались большими, тесными, едиными. Точно мыши. Точно тёплые шкурки мышей. Ребята осторожно трогали серую живую нежность, не залезая в поле...

Потом пришла откуда-то заплаканная луна. В Белой начали тонуть цинковые блики. И фантастический, гонный свет словно разом поднял поле ребятам, просветил его всё. И в освобождённой, разбежавшейся по всему полю радости одуванчики затрепетали. И ронялись с них, летели тени в светлом карусельном ветерке...

И нужно было уходить отсюда. Уходить домой... Ребята опять заверяли друг дружку, как клялись, что никому не скажут об этом поле одуванчиков. Никто не узнает про него... Начали карабкаться к Дому инвалидов, чтобы идти, наконец, домой. Поминутно останавливались и оборачивались... Оставленное поле походило на соборный серебристый сон...

А через три дня, поздно вечером, на самом закате дня, Сашка и Колька, стояли возле поля и смотрели, как какая-то пьяная девка бегала по одуванчикам в чём мать родила. Скакала, визжала. За девкой бегал мужик, тоже голый, с ягодицами как с автомобильными колесами. Толстые бедра девки взбалтывались. Каким-то толсто вывернутым фонтаном. Девка резко закидывала руки за голову, точно с удивлением разглядывала груди свои, как коломбины какие-то – и с воплем, с маху падала на одуванчики. И каталась по ним – ноги прыгали бревёшками. Сбитые, смятые, тела одуванчиков трещали с резиновым хрустом. Десятки, сотни их погибало. Точно из подушек порванных ударял, взмётывался в зной заката пух. Мужик скакал козлом вокруг катающейся девки, никак не мог примериться запрыгнуть. А она, усердная, вновь вскакивала, вскидывала руки – и хлестала себя об одуванчики. И опять вплёскивало в закат будто медленные мириады сохлой рваной крови...

Ещё какой-то мужик поднялся из ложбинки мотаясь. В трусах, правда. Длинных. Мокрых. Искупался. Река рядом. К ногам его выполз какой-то старикашка. С лысой головой, лоснящейся блеском мужских яиц. Помотал ею на ременных руках – и уронил в цветы. А в трусах который мотался, налаживал на себя гармонь. Как спасательный жилет. И полетел, рыкнув гармонию, назад, точно сдутый ветром...

Над убитым чёрным полем, будто ожившие горы, ходили ходуном ягодицы первого мужика. Чёрные, оголённые, как репейные старики, несколько ещё живых одуванчиков скорбно пригнулись в закате там же.

Мальчишки ступили в сторону, в темноту. Оставили на взгорке соляные столбы. Которые через несколько мгновений растаяли, пропали.

## 6. Одна порода

За грудиной опять подавливало. И не за грудиной даже, а будто в пищеводе. Пишевод словно был поранен чем-то изнутри. Слипся, саднил. Покосившись на Курову, Константин Иванович сунул под язык таблетку. Вновь попытался сосредоточиться на письме... «Я хоть и милиционер... но тоже человек...» Да, не густо у тебя с грамотёшкой, человек-милиционер... Прямо надо сказать...

Задёргало вдруг форточку, привязанную за шнурок.

– Константин Иванович... – не прерывая писанину, сказала Курова.

Новосёлов полез из-за стола. Подошёл, потянулся, развязал шнурок. Но не захлопнул форточку. За шнурок и удерживал. Был будто при форточке. Охранником.

– Константин Иванович, разобьёт ведь!.. Гроза начинается!

– Не нужно закрывать. Душновато что-то. Я подержу, не беспокойтесь. – Переворачивал во рту валидолину, по-прежнему удерживал форточку. Так удерживают хлопающийся парус. В надежде, что тот куда-нибудь вывезет. – Ничего...

Ветер задул ещё сильнее. Как крестьяне перед помещиком, деревья внизу неуклюже зараскачивались, закланялись вразнобой. Голубей носило, кидало будто косые листья. Полетели сверху первые сосулины дождя. И – хлынуло. Константин Иванович смотрел в непроглядную стену дождя, потирал потихоньку грудь. На улице разом потемнело. И только автомобилишки мчались по асфальту искристые, как мокрицы. В морозный от валидола рот стремился озон.

Ночью луна лезла в облака словно в разгром, словно в побоище. Константин Иванович лежал на кровати у окна очень живой, точно весь облепленный дрожащими аппликациями. Потом за окном наступило ночное безвременье – час, полтора между ночью и утром. Которое ощущалось большой чёрной ямой, где всё неподвижно, где воздуха нет – удушен. Катал во рту таблетки. Уже распластанный. Как рыба. Конечно, клялся, что уж бо-ольше ни в жизнь! ни одной! (Сигареты, понятное дело.)

Добротные закладывала храпы Даниловна в соседней комнате. Хозяйка квартиры. За семьдесят старухе, ест на ночь от души – и хоть бы что. Храпит себе!.. Не-ет, всё-о. Завязал. Пачку вот... докурю... и амба!.. Где спички-то, чёрт подери? Куда засунул опять?

...В кафе на Случевской горе Константин Иванович взял гуляш, стакан компота, хлеба кусочек. Поколебавшись, заказал коньяку. Пятьдесят грамм. Вроде бы помогает. Малыми дозами, конечно. Всё отнёс на подносе к краю раскрытой веранды, поставил на голубой пластиковый столик.

Кафе было пустым. Буфетчица сидела за стойкой как неиграющая туба. На раструбе которой много осталось скрипичных ключей и разных ноток.

Константин Иванович выщедил из стакана, стал есть. Солнце играло в бойких листочках куста у веранды. Как будто и не было никакого ливня вчера.

Курил на скамейке неподалёку от кафе. Аллея была тенистой, провальной. Вдоль асфальтовой дорожки сохранились водостоки в почве, ветвистые русла от ливня. В бликах солнца над асфальтом билась одинокая бессонная лотерейка мошек. Чей-то пёс-дурень пытался их кусать. Мошки взмывали повыше и опускались. Снова бились. Бился будто крохотный движитель... жизни... только бы не мешали... Здоровенный дурила дог изумлённо крутил башкой, расставив передние, будто полиомиелитные, лапы. Из кустов вывалилась дамочка в брючках.

– Джерри! Что ты делаешь! – Джерри клацал слюнявым капканом. – Перестань! Не смей! Бяка! – Ухватила за ошейник, с гордостью повела. Джерри прошёл мимо Константина Ивановича, навек ушибленный. Тестикулы сзади ничемно болтались. Эх-х...

Посмеявшись, Константин Иванович поднялся, бесцельно двинулся куда-то. Парк тоже был безлюдный. Пройдя вдоль цветочной клумбы, неожиданно вышел на открытый склон горы, к полянам. Вышел к солнцу, к простору во весь дух, к Белой внизу, к уходящим за ней до горизонта кудрявым лесам, перелескам, лугам. Устроился прямо на траве. Слева гудел коммунальный мост, вдаль по горе утопали в садах домишки Старой Уфы, напротив, через реку – Цыганская поляна, и вправо вдоль реки до железнодорожного моста раскидалась Архиерейка, или попросту Архиерейка. Домишки там лепились по берегу, по косогорам, по оврагам. Хороший обзор, всё видно.

...давненько не бывал здесь. Река даже вроде другой стала. Поуже, что ли. Помельче. Вода другая – серая, не беловатая как раньше. Заводы. Подпускают втихаря. Как в штаны. Пьют ли сейчас воду из Белой? Архиерейские хотя бы? Раньше только из реки. Ведрами на коромыслах. Женщины в основном таскали, девчонки. Полоскали зимой тоже на реке. В прорубях. Валиками молотили. Матери бельё к реке тоже таскал. В Старой Уфе. Бельё в корзинах. Мороз ни мороз – полощет. Тем и сгубила себе руки. Прачкой всю жизнь была. Да-а... Гырвас опять разглагольствовал вчера. Начнет всегда за здоровье, а кончит за упокой. Досталось и мне как всегда. «Отдел писем не реагирует на сигналы трудящихся». Дурень. За сигналы люди слетают с работы. Сами сигнальщики. На планёрках всегда снимает пиджак. В подражание какому-нибудь американскому издателю-зубру. Времен Марка Твена. Бархатная жилетка. Пальцы заложены. Поигрывают на животе. Похаживает. Как длинная вздутая шотландская волынка. С болтающимися сосками. «Мы газета, а не... пардон, здесь дамы». Постоянный обрываемый тезис. Постулат. На каждой планёрке. Клоун. «Руководители на это предприятие были подобраны самым тщательным образом. И результат не замедлил сказаться». Дурость, газетная шелуха. Отвяжется ли когда? К чёрту! Цыганская вон лучше. Цыганская поляна. Понятно, что прозвали из-за цыган. Таборы те там разбивали. Телеги, лошади, костры. Песни на лугу. Пляски-оторви-сапоги. Ситцевые метели... Всё прошло. Сейчас и в помине ничего не осталось. Сейчас дома. Добротные дома. Усадьбы. И ни одного цыгана... Каждый год подтопляет. Земляная вода какая-то. Грунтовая, видимо. Уже после ледохода. Только дома на воде и ровные рамки огородов. С месяц так держится. Каждый год. И – живут. И никуда с Цыганской. Всё дело в рамках этих водяных. В огородах. Нет лучше на базаре помидоров, огурцов, чем с Цыганской поляны. И из колхозов убежали. И в город калачом не заманешь. Эх, «Ракета» вон опять по воде летит. Лёгкая, стремительная. Сверкающая стеклом. Прямо Сорбонна. Летящая по реке Сорбонна. На Бирск пошла, к моим, двенадцатичасовая. Завтра и я поеду. И видится почему-то сейчас на гаснущих волнах лодчонка. Давно сгинувшая лодчонка. В ледовом крошеве весенней реки черепашкой шкрябающаяся к берегу. А в лодке той двое. Молодой парень с чубом и его пожилой отец. Иван Филиппович Новосёлов...

...Ночами по апрельской раздетой реке рыскали лодки архиерейских. Звякнет цепь, проскрипит вдруг натужно уключина, взворкнёт коротко матерок – и опять только всхлипывающий несущийся чёрный холод. Видимости – глаз выколи... А утром, как по щучьему велению, берег Архиерейки – в топляках. Укидан. Весь! И на Цыганской такая же картина!

Иван Филиппович Новосёлов метался на лодке с сыном между берегами.

– Ты закон знаешь?! Ты закон знаешь?! – бегал перед каким-нибудь амбалом из архиерейских. Маленький, до пояса в мокром плаще. Красноглазый от бессонницы, весь воспаленный. – Знаешь, я тебя спрашиваю, черт, а?

– Знаю... – уводил в сторону глаза архиерейский. – Тюлень... Сам выполз... – Кивал на берег: – Вон их... Как на лежбище... – И добавлял, поглядывая на Новосёлова, как бы причастный к его заботе: – Лезут, гады...

Новосёлов с досадой плевал, лез прямо в ледяную воду, опять мочил полы плаща. Неуклюже, по-стариковски переваливался в лодку. Резиновые сапоги стучали о борт как колотушки. Долго налаживался с кормовиком. Приказывал, наконец, сыну: «Давай, Костя, гребь». И Костя, слушатель рабфака тогда, грёб. Но чуть пониже по реке... отец опять выбежал на берег. Опять ругался. С другим уже амбалом:

– Ты закон знаешь?! Чёрт ты этакий, знаешь?!

Не в законе было дело. Дело было как бы в поправке к нему. Если «тюлень» с а м выполз на берег, да у твоего дома – он, стало быть, твой. Так ведь? Филиппыч?

– А нижегородским что? А? А дальше – по деревням? А благовещенским? Куда тебе столько? Глот ты чёртов! Продавать?

– Ну, одного... двух и спихнуть можно... Пусть плывут... Нижегородским... Иль ещё кому... Если доплывут, конечно...

– Тьфу!

Всё лето «тюлени» вылёживались на берегу, матерели. Под ветрами, дождями, солнцем. Осенью их начинали пилить. Потом вывозили на лошадях с татарами, продавать. Лучше топлива зимой – не было. Лес строевой по берегам не валялся никогда. Белого дня не видел. Дома рубились-ставились по Цыганской и в Архиерейке словно бы сами собой. Вроде бы тоже по ночам. Отношения к реке не имели. Мы к этому касательства никакого. Мы – сторона. Ловите там чего, вылавливайте. На то вы и речная инспекция!..

Отец и сын курили, скукожившись на гольце. Сплывала перед ними огромная холодная тишина реки...

...бедняга отец. Хотел, чтоб по справедливости. Чтобы всем доставалось. Опять полетела Сорбонна. Красавица. Эта до Благовещенска. Двенадцать тридцать. До Бирска не идёт. Однако припекает. Солнце что тебе перцовый пластырь. Хоть и ветерок с реки прибегаёт. Прямо сюда, на Случевскую. Кустарники теревит... Случевская... Случевская гора... От «случая», наверное, назвали. Всё тут бывало: и любовь, и раздеть-прирезать. Однако печёт. Голова уже как грелка. Напечь может. Лосиха ведь говорила, прикрывать надо. Лопух, что ли, вот этот хотя бы? Увидели б мои. Антонина с Сашкой. Лопух сидит. Укрытый лопухом. Газету где-то оставил. Брал или не брал со стола? Вот память! Зато опять вспоминается это письмо в редакцию. Безграмотное. «Я хоть и милиционер, но тоже как бы человек». Кто же спорит? «Не могу молчать». Молодец. Присылай. Весели редакцию. Зубоскалов у нас хватает. Зачем всё это лезет в голову? Мысли разбрасываются. Глаза только видят точно. Река блёсткает как кольчуга. Утки две плывут. Держат наискосок от берега. Сыграли под себя. Мгновение – и нет на поверхности. Вынырнули. Опять плывут. И опять сыграли. Мы ведь чукчи. Акыны. Что видим, то и поём... Лосиха вот опять вспомнилась. Врач. Кардиолог. Странная фамилия Лось. Странная для еврейки. Лосиха. Все побаиваются ее в отделении. «Лосиха сказала. Лосиха узнает». Белый персонал весь на цыпочках. За семьдесят, поди, старухе. А всё работает. Одна, наверное, уже живёт. Никого не осталось. Только в душе. Горбунья. Которая знает все подлости жизни. Хлебнула наверняка всего. С лихвой. Не удивишь такую ничем. Приклонится к тебе с кривульным своим фонендоскопом, вопьётся им в тебя – и слушает. Как паук. Только глаза пошевеливаются. «Зачем же лечить безвольного жалкого курильщика. Вас же опять видели с папирской. У меня же кегебе». Забавная старуха. Сколько же мне осталось? Год? Два? Месяц? Так и не сказала. Что с Сашкой будет? С Тоней? Воздержаться пока от сигареты. Полчаса ещё осталось. Помнит ли женщина всех, кого любила? Или прав Бунин. Сломал в общем-то жизнь бабе. Ничего не дал. Постоянный приезжающий, идиотски радующийся гость. Стесняющийся

деликатный подлец. «Вы не беспокойтесь, я ненадолго. Не буду вас стеснять». Подлец. Ладно. Хватит об этом. Тут ещё сигарета эта. Не разминается. «Памир». Дешевле просто нету. Эконом-подлец. На сигареты с фильтром ему жалко. Так и будет до смерти пёрхать. На поездки экономит. Этаким благодетелем всегда приезжает. Встречайте его. Стесняется. Улыбочку прячет. «Извините. Ненадолго». С сумочками, со сверточками. Ножками о половичок шоркает. Га-ад. Однако сигарета – дерёт, стерва. Но что с письмом милиционера делать? Мимо Гырваса не пройдёт. Сигнал. Хотя совсем другое там. Кстати, почему – Гырвас? Фамилия-то его Балашов? Что Григорий Васильевич, что ли? Гырас. А также Гарвас. Острословы. А меня и вовсе – Неуверенные Муди. В первый раз услышал, не обиделся даже. Не в бровь, а в глаз. Коньки отброшу – «Муди умер. Слыхали?» Тоже не плохо. Сашку привел в редакцию – «Село». Сразу. Как и пацаны в Бирске. «Я же не Село, хотя и Новосёлов. Почему? У тебя чуб не так растёт. У тебя вверх, а у него вперёд. Значит, – маленький Село». И смеются. Тяжело парнишке будет. Замкнутый, неразговорчивый. Может быть, со мной только так? Гость ведь? Вечный гость? Чувствует мальчишка, чувствует. Эх, думать даже об этом тяжело. А в глубоком горизонте опять погромыхивает, вздрагивает. Опять что-то рвут.словно в большой церкви большая проповедь войны идёт. Парнишка сразу тот вспомнился. В Белоруссии. Чем-то Сашка теперь похож на него. Затаённым ожиданием, что ли. Стоял тогда на перроне. В немецком кителе цвета цемента. С подвернутыми грязными рукавами. Оловянные пуговицы. Как глаза слепых по тогдашним вокзалам. Вдруг побежал за раскрытым вагоном. За нашей теплушкой. Расплескивая из котелка. «Дяденька, меня Гришкой, Гришкой зовут! Из Лебядихи я, из Лебядихи!» Почему плакал и бежал. Много всего было, а этого не забыть... Ладно, хватит. Тяжёлое. Не надо. Сейчас. О другом лучше думать. Зарегистрировала ли Курова письмо? Такая вряд ли забудет. Робот. Автомат. Густые красивейшие волосы блондинки. Но с кожей лица уже самостоятельной. Какая бывает у дамского наморщенного сапога, надетого на ногу модницей. Лет пятьдесят уже даме. Однако до сих пор с талией хорошо перевязанной метлы. Ходит гордо. Сохранила фигуру. Рожала ли когда? Нет, пожалуй. Такие не рожают. Всю жизнь возле начальства была. Секретарствовала. Нашими-то ловеласами брезгует. Впрочем, Тигривый там чего-то вроде бы. С улыбочками докладывали. В Совмине до нас была. Под каким-то министром. Не угодила чем-то. А может, просто надоела. Молодой заменил. Фаворитка в опале. На письма к нам засунули. Как и меня в свое время. Хотя я сапоги никому не лизал. За «дело», как они сказали. «Ты аморальный человек, Новоселов, и в партии тебе не место». А, да ладно. Пусть. Быльем поросло. А эта многим уже крови попортила. «Письма жалобщикам нужно писать от руки, уважаемый Константин Иванович, но на бланке редакции и с печатями». Большой психолог. Всю жизнь отфутболивала. Как такой не знать? «Вам опять Виктория Леонидовна звонила. Говорит, что вы скрываетесь от неё. Говорят, вы теперь комнату где-то снимаете. Так ли?» Курова... Куровой бы ей называться. Ладно. Чёрт с ней. Громадный плот вон из-под моста вылезает. Два катера в хвост впираются. Чтобы не занесло на берег. Головной катер с длинным тросом бурлит точно на месте. Метров на триста плот. Отец бы ахнул, увидев, какие плоты стали таскать. Рубленый домик на одной из секций. Проплывает. Постирушки под солнцем полощутся. Ребятишки в рубашонках бегают, подпрыгивают. Черпаком ворочает в казане мать. В свисшем кошеле платья заголились расставленные убойные ноги молодухи. Сам хозяин-плотгон в резиновых сапогах – валяется. На спине. Русая голова в воде меж брёвен плавает – как замоченное бельё. Да-а, жизнь. Семейная. Вспоминается сразу Куликов. Доцент нефтяного, кажется, института. До войны у Цыбановых комнату снимал. Рядом с нашим домом. Жена – хромоножка. Как старенькая обезьянка взбалтывала и прихлопывала ножкой во время ходьбы. Когда он вёл её под руку, то тоже приволакивал ногу. Синхронно, почти как она. Сам лысый. Виски что у старого голубя – горящими спиртовками. Так и шли всегда под руку какой-то неразлучно-обоюдной обузой. Такие не живут друг без друга ни дня. Старая Цыбаниха говорила, выкатывала варёные глаза. «Моей её! Не поверите! В тазу! Как ребёнок! А потом она его

– такого байбака». Бабы покачивались у ворот. Смотрели как на небожителей. На всю жизнь запомнилась пара. Отец однажды. Выпивши. На скамейке сидели. «Вот как надо любить. А ты тряпка. Вытирают ноги – молчишь». Прав был старик. Прав. Семейные отношения. Тайна двоих. Известная всем. Тот же Коля. Коля-писатель. Друг Коля. Постоянно напряжённый весь. Напряжённый в себе. И одновременно – вовне. Как слепой, идущий по тротуару. Стукающийся палочкой. Бедняга. Тоже фронтовик. Контуженый. Без руки. Нет, моей далеко до его Аллы Романовны. Далеко. А впрочем. Такой же тряпкой, как Коля, всю жизнь был...

...В тот день Константин Иванович ехал в Бирск последним автобусом. Как всегда, истерически приподнятое настроение перед поездкой (бегал по магазинам, накупал продуктов, торопился, дома складывал, паковал) сменилось в пилящем автобусе тяжестью, тоской. Обложенный сумками, сетками, Константин Иванович болтался в полупустом автобусе на переднем боковом сидении... В облаках у горизонта светило закатное солнце. Светило коротко, медно. Как светит коротко, медно трёхлинейная лампа, зажжённая раньше времени, оставленная в пустой избе на столе... Три селянки с пузырястыми остановленными глазами удерживали свои корзины, как неотпускающие дневные заботы свои. Будто гусеница, тыкался в клюшку задрёмывающий старик...

И опять было топтание у порога, тихие приветствия, извинения. Пошаркивал, вытирал ножки о половичок. Гость, знаете ли. Гость смущающийся. Ладно. Чего уж.

Потом семья, что называется, мирно ужинала. Гость освоился уже. Шутил. Да. Конечно. А как же.

Тут дверь – словно без веса, словно картонная – резко распахнулась... В комнату вошёл Коля... Вернее, не вошёл – он словно вплыл в своих слезах; его трясло, пытаюсь говорить, он клалца зубами, очки буквально плавали по лицу...

Сашка и Антонина вскочили. А Константин Иванович уже подбежал, уже заглядывал в глаза:

– Что случилось? Николай! Умер кто?

Коля мотнул головой.

– Кто?! Алла?!

– Нет, нет!.. Я... я умер... – Коля больно наморщился и потащил из кармана уже весь мокрый платок.

Константин Иванович отпрянул от него, тоже полез за платком – аж потом прошибло. А дальше все трое только пугались, вздрагивали от Колиных слов:

– Я... я... я не могу больше!.. Костя! Тоня! Я не вынесу!.. Она... сегодня... она мне... мне на стол... мне... прямо на стол... на рукопись поставила... на рукопись... ведро, ведро поставила... мне... ведро...

– Какое ведро? Куда?

– На... на рукопись, понимаете... ведро... прямо...

– Какое ведро, чёрт тебя дернул?!

– Помой...ное... на рукопись... прямо... помойное ведро... Я не могу больше! Я... я...

– Что-о?! Ну, знаешь! – Константин Иванович сразу заходил, закипел самоваром. – Это! Однако, да-а! Так издеваться! Да где она, стервозка! Я её... А ну пошли!

Антонина метнулась, загородила дорогу, торопливо, испуганно говоря, что не надо, не надо ходить, что разобраться сперва надо, разобраться, Константин!..

– Это ещё в чём? – с подозрением прищурился Константин.

Дальше всё смешалось. Кричал Константин Иванович, теперь уже от его криков, как от ударов, дёргалась Антонина, пыталась останавливать, чтобы по-хорошему, чтобы разобраться сначала, чтобы по-людски! Безучастный, давился слезами на табуретке Коля. Безрукое плечо его вздёрнулось как у сжаренной утки.

– ...Да мужик ты, Колька, или нет, а? В конце-то концов! Или тряпка, которую топчут всякие гадины? Долго ты будешь терпеть? Долго, я тебя спрашиваю?! – Константин Иванович подскочил к стенке, застучал в неё кулаком: – Слышишь, сучонка? Я тебя говнами твоими накормлю, так и знай! Я тебя, мать-перемать, в порошок сотру! Я тебя...

Антонина стала хватать за руки, уговаривать, умолять, что не надо, не надо, нехорошо это! нехорошо! Господи!

– А-а-а! Нехорошо-о-о?! – перекинулся на неё Константин Иванович.

– Да что ты! Что ты! – пятилась Антонина. Деликатный постоянный гость был неузнаваем. Таким неузнаваемым бывает внезапно одуревший, пьяный.

– ...А-а-а! Неудобно-о-о?! Так ты заодно с ней?! Значит, если б я тоже вернулся с войны таким, да к тебе пришёл, то ты... то ты – тожа-а-а?! Да я тебя!..

– Костя! Костя! Опомнись!..

Сашка кинулся, схватился за мать. Тут всунулась толстая Кудряшова. Соседка:

– Что у вас происходит? Вы не даёте смотреть телевизор! Я...

Константин Иванович тут же подбежал:

– А ты иди, презервативы свои надувай! (До самой пенсии Кудряшова работала начальником ОТК линии «резинового изделия номер два» на заводе Резинотехнических изделий в Уфе.) Презервативы! Чтоб дырок не было! Поняла?! – Мотал длинным указательным пальцем перед большим испуганным лицом: – Знаю, кто написал на меня в редакцию! Знаю! Стукачка! Вражина! – Кудряшова попятилась, исчезла.

– Костя! Костя! Опомнись! – уже плакала Антонина.

Как от сильного удара схватился за голову Константин Иванович. Сел на порог у распахнутой двери. Раскачивался, не выпуская безумной головы из рук: что он делает?! что он несёт?! что он мелет?!

Ночью метались по темноте немые молнии. Словно слепцы по разным дорогам яростно пытались прозреть. Словно это была последняя их возможность, последний шанс... Сашка спал в простенке своём. Резкий сжатый свет из окон точно подбрасывал его и тряс вместе с диваном. Однако мальчишка был покоен, не просыпался. Во время сверканий родители не без опаски глядели на него с кровати. Потом – как продолжение шальных этих вспышек, как чёрная их слепота, падающая в комнату – вновь возникал и мучился в углу голос:

«Костя, почему ты скрываешь от нас с Сашкой всё? Ты год уже, оказывается, живешь на квартире, снимаешь комнату, ушёл от жены, у тебя недавно был приступ, ты почти месяц лежал в больнице – а мы с Сашкой не знали ничего. Посторонние люди сообщают. Кулёмкин ваш был в Бирске, фотограф, рассказал. Почему ты скрываешь от нас всё? Что же ты с нами делаешь-то, Костя! Господи, когда ж это кончится всё! Что ты там оставил в своей редакции? В Уфе своей? Что?! Я знаю: ты ждёшь, когда я состарюсь. Чтоб ровней тебе была, ровней, да, только так! Неужели за одиннадцать лет ты ничего не понял! А с сыном, с сыном что ты будешь делать, Господи...»

Вспышки рвались по окнам, и опять падала в комнату чернота.

«Ну что ты, Тоня. Не надо. Успокойся. Вот Сашку и нужно поднять. А что я тут? С удочкой на берегу сидеть? Тебе мешаться, в ногах путаться? Ещё годик-два... Ну-ну! Не надо. Прошу тебя. Ты ведь свободна, Тоня. Я всегда это тебе говорил. Подлец я, конечно. Не смог вовремя порвать. Прилепился. Сейчас у тебя совсем другая бы жизнь была. А так – конечно. Потерпи ещё. Образуется как-нибудь. Да и вредно в таком возрасте жениться, хе-хе. Вон Брынцалов был. Живой пример. Вернее, мертвый теперь. Ведь и у меня так же может случиться. Пельмешки там, ватрушки разные пойдут, хе-хе. Шучу, шучу! А если серьёзно... подожди ещё немного. Надо решиться. Одиннадцать лет, конечно, прошло. Для меня пролетело. Я был счастлив в эти годы, Тоня, счастлив. Прости...»

Ранним утром в высокой, подпираемой солнцем, теплеющей синеве скукожилась заснувшая луна. У раскрытого окна, у подножья этого необъятного мира, приобнявшись, стояли мужчина и женщина... Их сын спал рядом – руку можно протянуть. Ветерок мял белую занавеску. Потом слетал и прятался в распушенном чубе мальчишки...

...мать. Мама. Шьёт что-то возле большого нашего стола. Нагорбилась. Седая вся. Как пробелённый свет, натянутый от окошка. Робкие руки её. Боящиеся тронуть голову тоже совсем седого сына. Жаловался зачем-то ей. «Жить надо, Костя, жить. Дети ведь. Не бросай детей». Эх-х. Прав был отец. Тряпка я. Не мужчина. Точно. Да-а. А свадьбы какие были у нас. Двух дочерей выдал отец. Трёх сыновей женил. Всех, кроме меня. Вытаскивали отцовский здоровенный стол во двор. На волю. На простор с горы во всё небо. Вдали Белая. Леса. Ещё столов добавляли. Гостей – море. На заборе ротозеи висели. Человек по двадцать. Забор падал. Хохот. Смех, шутки. Песни потом, пляски. Отец гармонь не выпускал. Пальцы что тебе работающие сороконожки. Да-а. После гостей сразу тащил стол в дом. Пьяный не пьяный – корячится. Мать ругается. «Отец, до этого ли сейчас. А вдруг дождь», отвечал тот. Разворачивал, мотался со столом. «Помогай лучше, дуреха». Чудак. Моя свадьба в другом месте была. «Не желаете ли вот это блюдо попробовать? А вот эти анчоусы? Или крабов вам?» Отец в каком-то новом костюме серого цвета. Неподвижен как фанера. Мать не знает куда смотреть. Рюмка в прижатой руке отца стучается с рюмками соседней безотчётно. Как кутас лошади. Лишь бы отстали. Чувствуют всегда родители. Кожей чувствуют. Не в свои сани их дитя сел. Не в свои. Чувствуют сразу...

...Летами речка Дёма, приток Белой, тонула в ивах и черёмухе. Ветви лезли к середине от самой воды, от берега. Течение подползало под них и отворачивало. Чтобы уйти и мыть противоположный берег. Более приподнятый и – нет-нет – да с полянами и с проплешинками от костров... Посередине сплывает на резиновой лодке рыбак. Рыбачит нахлыстом. Кидаемая удилицем снасть пролетает под самый берег, под кусты. Конусная безгрузильная леса с кузнечиком или бабочкой на крючке летит, будто длинный выюн с цветком на конце... Коротко, резко подсёк. По-дельфиньи рыбина выпрыгивает, стремится сойти, прыгнуть с крючка, но рыбак расторопен – быстро подвёл, подsunул подсачик. Усмиряет рыбину в лодке... Курит. Дым идёт с лодкой вровень. Сверху нудит обеденное солнце. Шляпчонка на старике – будто опрокинутый на голову тюльпан. Притемнённые глаза спокойно смотрят на обрывистый невысокий берег. На мужчину и женщину. Мужчина на коленях хлопчет возле костра. Женщина в купальнике развалилась на одеяле. Ноги – козлами...

– Да это же отец! Виктория! – Мужчина вскочил. Трусы на ногах, как знамена на кривых палках. – Отец! Это мы!.. – Старик спокойно смотрит на него. – И, главное, мимо проплывает!.. – удивляется мужчина. – Давай сюда! Папа!..

– В другой раз... – проплывает спокойно старик. – На-ка вот. Держи! – На берег летит крупный краснопёрый голавль, выбивая в воздухе сырую многоцветную дрожь.

Пока мужчина ловит на приплёске скачущую рыбину, женщина в купальнике, оперев руки в бока, смотрит на уплывающую спину. Которая через какое-то время начинает ворочатся. Руки старика берут удилице, чего-то там морокуют с крючком. Затем старик резко кидает лесу под противоположный берег...

– Дикарина все же этот твой отец! Прямо надо сказать!..

Женщина всё смотрит. На бегущей воде дрожит её ломаная тень-карга...

...стол. Стол в нашем доме. Простой был стол. Струганный, деланный самим отцом. Сколько помню себя, всегда стоял. Тянулся через всю комнату. От простенка меж окон – и

почти до входной двери. Отцовский стол. Так и называли. Однако опять погромыхивает над рекой. Опять рвут. Горизонт аж вздрагивает. Новый аэропорт закладывают. Писали об этом. Вот опять. Чапай бил из орудий так же. По Старой Уфе. Только вон оттуда. С заворота реки. Здесь-то не полезешь – круто. Снаряды крыли гору. Дом не дом. Только балки и доски взлетали. На середине реки паром. На пароме паника. Лошади дыбьём. Бабы в воду давай прыгать. Сарафаны на воде пузырями. Сколько перетонуло! А те – долбят. Черемисиным прямо в дом. Хорошо, те в погребке сидели. А доблестные поплыли уже. Сами. Плоты, лодки, жизнь – копейка. Буксиришка откуда-то взялся, запыхтел. Висят на нём гроздьями. Колчак тоже накрыл. Разлетались доблестные, как тряпичные. Пароходиска сразу на бок. Как инвалид колченогий заплутал. Остальные доплывают уже. И пошли разбегаться по косогору тараканами. Уря-я-я. А мы смотрим. Во все глазёнки. И про соплю забыли. С крыши смотрим. Наблюдательный пункт. Черемисины взлетели. Теперь мы ждём. Когда к нам прилетит. Ох, мать тогда и отстегала! А двор наш широкий был. Открытый всему миру. Далеко с горы было видно. Всю Белую. Как отсюда вот. Леса, перелески вдали. Озера, как зеркала для Бога. Взблескивают только. Паровозик с составом бежит. Будто длинную кудельку лебедей протаскивает через железнодорожный мост. Красота. В самом дворе пёс Хорошка возле своей будки на балалайке играет. Ходят внимательно куры. У Порыгиных кот опять на голубей вышел. На басмачей, значит. Присел на крыше, вытянулся. Чекист, крадущийся маузер. Ворон сидит на нашей берёзе в огороде. Просто как чучело. Да-а. «Воды, воды не жалея, Костя. Огурцы любят. Горькими не будут». Мать стирает, дёргается над корытом. А большая хрустальная, водяная метла гуляет по грядкам. Будто сама по себе. Будто и нет никакого мальчишки при ней. Да-а. Всё было. Внезапно почесался и снова уснул куст на бугре. Разморило. Печёт всё же. Лопух стал уже как слизень. Кислицын сразу вспомнился. Тоже сосед отца. «А я тебя во-от таким помню». Лет двадцать на скамеечке просидел. С палочкой. Сверстники поумирили все давно. А он всё сидел. Как сморщенный пустой мундштук от папиросы. Что-то с ногами у него в молодости было. Ох, отец не любил его. «Это Кислица-то, что ли? В чайной, пьяный, на голяшке играл. Через пень-колоду. Для таких же пьяных. Жена вечером домой приводила. Вместе с голяшкой. На ногах не стоял. С работы как бы. Паразит. Плюнуть и растереть. Вот твой Кислица. Тьфу!» Ох, не любил отец. Земля всех помирила. Да-а. А как он смеялся. Отец. Особенно над анекдотами. Пропаще, пыточно. Мгновенно сдёрнув с лица свои глаза. Велогонка вон в гору козлит. Как раз по Старой Уфе. Кидаёт под собой велосипеды. На самом пике горы начинает выталкиваться из машин, пьянеет, изнемогает. Переваливает через бугор и куда-то вниз начинают падать. Как на освобождающих от всего парашютах. Сзади три открытые машины с причиндалами катят. Точно подметают за велогонщиками всё. Прямо Тур де Франс. Кулёмкину опять работа. Завтра репортаж с фотографиями тиснет. Однажды кто-то «тиснул». «Обязуемся надоить от каждой коровы по 1200 гектопаскалей». Опечатка. Нарочно, конечно, подсунули. Что было-о! Мизгирёв чуть с работы не полетел. Корректор. А ведь не виноват, заморочили голову. Говорили, что Брынцалова работа. Кости. Хохмач был. Да-а, Костя Брынцалов. Тёзка. Умница. В больнице когда уже лежал – не узнать было. Туша центнера в два на кровати. Жаловался мне, что женился зря. Три года назад. Здоровье бы так быстро из рук не выпустил. «Не-ет, Костя, одиночество б заставило держать. А та-ам, как деньги – пошло-о. Не успел опомниться, развалиной стал. Пельмешки, галушки, барашки пошли. Ватрушки. Вообще старость, Костя, – это сор из избы. На улицу». Так и сказал в конце. Эгоцентрик. Прожжённый. Возвышался на кровати каким-то небывалым брыластым анахоретом. Серым. Недовольным всеми. Больше всего самим собой. Гудков сразу лезет в голову. Из сельхозотдела. Вечный соперник Брынцалова. А потом и гонитель. Немало и мне крови попортил. Ходил как-то... очень уж энергетически для старика. Дёргально. Будто подпитывая ноги переменным током. Быстро втыкая ноги и как бы сразу обжигаясь ими о землю. Странно ходил. «Иван Иванович, как здоровье? Нормально. Любовницу еще имею. Только забываю, зачем пришёл. Так и уйду, не вспомнив». Оба ушли.

И любовниц оставили. В один год. Синяя дымка над Старой Уфой стоит. А вёснами медовый запах черёмухи по всей горе гуляет. По субботам баньки дымят. Запахи перемешиваются и разбегаются. Как лоботрясы. Не поймешь, как говорится, где кто. Наша банька на огороде была. От черёмух подальше. И вот потянулись чередой. Мужики и мальчишки сперва. Потом женщины с девчонками. После бани все пьют чай за отцовским столом. Женщины с белыми султанами на головах. С лицами как Огнь. Ребятишки уже засыпают. Все как варёные. На промытых лицах мужиков глаза блуждают. Чай – явно не то. Ждут мужики. Мать не выдерживает. Достает. Одну. Что тут начинается! Смех сразу, шутки. Счастье, оказывается, вот какое на вид. Вот оно, на столе, стеклянное. Любит всё же русский человек выпить. Любит. Чего уж там. Вот и мне, пожалуй, пора. Полечиться. Профилактически. Сколько времени-то набежало? Ну, пора-а...

В кафе было уже немало людей. Сидели за столиками и взрослые, и дети. С мороженым, с бутылками газировки. Человек пять стояло к стойке. Константин Иванович пристроился к ним.

Совершенно не ворочая шеей, тубистая буфетчица умудрялась всё отовсюду доставать. С боков, позади себя. Бутылка коньяка, тарелочки, казалось, сами подплывали к ней, к коротким её рукам. Уже после того, как она отходила, вдруг начинал верещать кассовый аппарат. У неё за спиной. Точно сам по себе. Ни одного лишнего движения у женщины. Профессiona-ал. Константин Иванович размахнулся... на сто грамм коньяку! Лечиться так лечиться! С подносом направился опять на край веранды, как бы к своему столику. Хотя там и сидел уже один гражданин. Армянин вроде бы. Можно к вам? Армянин кивнул и даже отодвинул стул. Вот и хорошо! Всё расставил на столике Константин Иванович и пошёл обратно к буфету, чтобы вернуть поднос.

Армянин сидел возле своего стакана очень грустный. Нос его свисал как кета. Солёная, красная. Кивнул, когда Константин Иванович приподнял свой стакан. Мол, давай. Пей. Не обращай внимания. Грущу. Константин Иванович выщедил половину. Стал закусывать бутербродом с сыром.

– Жена моя... – мотнул головой армянин.

– Где?! – испугался Константин Иванович.

– Буфетчица... – не спускал печальных глаз с визави армянин. – Бывшая... Галей звали...

Конечно. Понятно. Бывает. Ваше здоровье. Константин Иванович поднял стакан. Дескать, прозлит! Выпил. Опять жевал бутерброд.

Армянин задумался, накорнувшись вперёд. Жидкие волосы на голове были сродни журавлиным останкам. Покрутил в руках пустой стакан, полез из-за стола. Красную новую десятку держал у буфета робко. Как поднос. «В очередь!» – рывкнули ему от кассового аппарата. Послушно встал за двумя посетителями. Без мензурки буфетчица шарахнула ему полстакана. Начала бить на стойку сдачу. Рублями, рублями! Потом мелочью. Пятак сверху припечатала. Всё! Следующий! Армянин стоял со стаканом, не зная, то ли выплеснуть из него на жену, то ли поставить на стойку и горько заплакать. Да, драма. Не позавидуешь. Константин Иванович пробирался к выходу.

Опять сидел на прежнем месте, на поляне, соорудив из чьей-то газеты на голову бумажный колпак. Вообще-то бумажный шлем. Если точнее, правильнее...

...теперь хоть до вечера можно сидеть. Умеет ли Сашка такие делать? Мы пацанами запросто. Заворачивали-загибали. Быстро. Надо научить его. К шлему щит, понятно. Меч из дранки. И понеслась. Да, погорел армянин. Измена, конечно. Трепанул. Тоже, наверное, повар какой-нибудь. Или директор базы. А если не любишь? Давно не любишь? А дети давно взрослые, разъехались? Это как – измена? Не давать развод пять лет! По парткомам бегать!

Хотя давно уже безбилетный. Её же стараниями. Ласково, иезуитски разговаривать с тобой – и тут же за волосы, за волосы тебя драть! Как льва какого-то дрессированного. Кнутом и пряником, как говорится. Это – как? Удивлялся ещё Кольке. С Аллой Романовной его. Колотит. Помойное ведро поставила на рукопись. Как апофеоз уже всему. Скандалил. В стенку бил. А сам на другое утро извиняться появился. Прошу простить, Алла Романовна. Погорячился. Корректер. Как белогвардейский офицер. Каблучками ещё шелкануть надо было. Пардон, мадам. А та стесняется, а та стесняется. Как стерва. Ручки заминает. Хихикает несмазанно с утра. Как якорная цепь из зубчатой лебёдки. «Кому какое дело, хирт-хирт-хирт. Это никого не касается, хирт-хирт-хирт. Я буду жаловаться, хирт-хирт-хирт». Э-э, осёл. Тряпка. Ладно, хоть Коле всё же помог. Смылся тот. Набрался-таки мужества. Через два дня умотал из городка. С Булкиным провожали. Из местной газеты тоже парень. Провожали на пристани. В буфете. Пьяные, конечно. Стукались кружками, плакали и обнимались. Рассказывали всё это, так сказать, очевидцы. Потом засовывали Колю в «Ракету». А он с плачем рвался назад и обнимал друзей своих. То есть нас, получается, с Булкиным. Кое-как с чемоданом затолкали в судно. И Коля умчался вверх по реке за убегающим солнцем. Так сказать, к новой, светлой жизни. Ох, и пометалась стерва по городку, ох, и поискала. Ищи теперь «урода очкастого», стерва. Ищи ветра в поле. Мы с Тоней – молчок. Могила. Булкин тоже не скажет – верный друг Коле. Тоня только долго не могла успокоиться. Особенно после встреч со стервой во дворе. Дома делала большие глаза: «Начальница Отдела Культуры! Вы только подумайте: Куль-ту-ры!» Да-а... Отец пришёл опять в память. Часто работал с сыном, с младшим, последним. С любимцем Костей. Что-нибудь налаживали там во дворе. Или в сарае. Изредка подматюкивал. Как бы вводил в подростка сына яд малыми дозами. «Ах ты, бя!» Так и с куревом при нём. Курил мелконькими затяжками. Курил как бы только слегка. Понарошку. Поглядывал на сына. Наивная голова... А как он играл на праздники, на пасху! В коленях ловко приручал гармошку. Возле дома наявничал. С отсутствующим, даже страдательным выражением лица. Будто и не он это играет – а мученик. Бабы подпирались кулачками, охали. А он с цыганским глазом к матери! И опять мученик. Же-естокий был мужчина. Да-а. Всё меж ними было. И любовь, и слёзы. Шестерых детей поднять. Всегда полон дом детьми был. И своими, и родственников. А братья его? Тоже все речники. Шкипера, мотористы. Все с усами заточенными. Как с кошками рыбацкими. И жёны их тут же всегда. Плясуньи-хохотуни-работницы. И все в его дом, за его стол... Да, стол. Семейный его стол. Не понимали мы тогда. Чем он для него был. Пошучивали. Взрослые уже – а дурни. Да-а. Иногда вечерами сидел за этим столом один. Руки широко поставив. Как будто за собранными им землями. По двенадцать-четырнадцать человек усаживалось. Это в будни обедать или ужинать. И ещё места оставались. А уж гулянка когда – то во всю длину комнаты! Да-а... Засыпает послеполуденная одурь реки. Поблескивает, плавится. Речной трамвай вон почухал. Этот на лапоть смахивает. Этот недалеко. Дачники внутри с корзинами до потолка. Эх, бывало, татары на лодках выплывали семействами. По воскресеньям. Обязательно тальян-гармонь у них переливается. С колокольцами. Далеко по воде слышно. Ничего не стало. Левинзон опять вчера приходил. Как на работу уже ходит. Как прописался. «Когда моё письмо будет напечатано, т. Новосёлов? А почему оно должно быть напечатано, т. Левинзон? Да как так! Да вы же бюрократ, т. Новосёлов! Махровый бюрократ! Я буду с вами бороться!» Порода такая. Лицом как олимпийский факел. С которым бегут многие километры. По странам и континентам. Негасим. Ни при каких обстоятельствах! Эх, борец. Почему не живёшь-то как все? Ведь отовсюду выгнали. Жена втихаря прибегает. «Не берите у него писем! Не берите! Умоляю вас, он нас погубит!» Это – как? Одни глаза да волосы остались. Факел. Горит. Полечиться бы тебе, бедолага. Отдохнуть. А попробуй, скажи. Так и будет ходить. Пока не засунут... Эх-х, закурить, что ли? Сколько там времени прошло? Рано ещё. Потерпим. Ещё жалуется Каданникову. Ответсекретарю. Нашёл, кому жаловаться. Ягнёнок волку. Да Каданников же стучит! Вся же редакция об этом знает! Осведом! С многолетним стажем! Так попробуй факелу скажи. «Мне

нечего скрывать. У меня всё правда. Требую напечатать». Дурень. А тот всю жизнь в Главные метит. Бездарь, неуч. Как... как узластый деревенский корень. Неимоверным упорством вспоровший городской асфальт. Неимовернейшим. И побега нового не даёт (и не даст), и люди спотыкаются – шишка, бугор. Вот уж кого терпеть не могу. Один такой гад на всю редакцию. Ему ведь стукнули о нас с Тоней. Из Бирска-то. А уж он развернулся. Раздул кадило, сволоочь. Закурить всё-таки надо. Никак нельзя после таких не закурить. Вон Тигривый, тот не закурит. Нет. Не станет переживать. Весёлый человек. Зачем-то десятку ему дал. Своими руками. Когда теперь отдаст? Игорь Тигривый... Причёска – как петух, сидящий на голове. Чудо в джинсах. Грязных уже в той степени, когда их можно ставить возле кровати на ночь. Стойма. И любоваться на них вместе с любовницей. Что, наверное, и делает сердцеед. Залетает однажды к нам на Письма. «Константин-Иванович-там-ко-мне-пришли-приехали-прилетели. Мать-дочь-кто-то-еще. Так-меня-нет-не-было-и-никогда-не-будет!» Распахивает окно – и сигает со второго этажа. Прямо на головы проходим. Анекдот редакции. Гырвас кряхтит, но терпит – нет лучше спецкора. Да и беспартийный. Не потянут. «Ты там где-нибудь, Тигривый. В кустах своих, что ли. На танцах. Почему они к тебе в редакцию-то идут? Не знаю, Григорий Васильевич. Честное слово, не знаю. Несознательные». И смеётся, подлец. Лёгкий человек. Вот уж для кого всё всегда ясно. А тут городишь, городишь чёрт знает что сам себе. Нагородил уже до неба. Никак вылезти не можешь. Родиться надо таким. Чтобы на всё плевать. Не получается. Куда уж! С милиционером вот что делать? Рукину, что ли, послать? Чтобы нашла этого милиционера? Вот – тоже, что она Рукина, что Валя, Валентина, давно забыли. «Добрый День» вот теперь её имя. И ведь гордится. Ходит. Наверно, в юности своей нюхнула интеллигентности. Посреди грязи-то деревни. Нюхнула культурного, незабвенного. Учитель ли так говорил? От приехавшего ли кого услышала? Лектор, к примеру, был? С тех пор – только «добрый день» говорит. Утро ли, вечер – не важно. По несколько раз с одними и теми же так здороваются. «Где эта, ну как её? ну «добрый день» которая? Пошлите её. Срочно!» Так и прилипло. Сама себя, глупенькая, означила. Не деревенская уже, не городская. Не понимает этого. Ходит по коридорам. Чтобы сказать это свое «добрый день». Тигривый, говорят, что-то такое. И тот даже отпал. «Добрый день, товарищ Тигривый». Выйдет ли замуж когда? Городские-то просмеивают. Вся жизнь перевёрнута. Не понимает хоть пока этого, ладно. «Реактер! Реактер!» И побежали деревенские ребяташки. В Яблочной было. На высоком берегу Белой. «Реактер!». Что за «реактер» такой? Оказывается, Реактивный Самолет. В небе. ИЛ летит. Этакая дура. «Реактер». Хохотал до слёз. Вот тебе «добрый день», с одной стороны и «реактер» – с другой. Да-а. Что же делать с милиционером? С Ноговицыным? С Александром? Пишет в письме: «Этот обидчик мой, лейтенант Григорьев, по национальности русский. Его особые приметы: нос древнегреческой формы, широкие плечи и узкий таз. То есть фигура у него среднеазиатская». Да-а. В «Крокодил» хоть посылай. Одного не может понять, дурачок, что сор из избы вынес, что не работать ему там больше. Не быть в милиции. Да. «А пособник лейтенанта Григорьева Стрелков, находясь в больнице, залез в чужую семью и разбил её». Так и пишет. А дальше: «После этого случая он приходил в мой дом ещё четыре раза. Только один раз в трезвом виде, а три раза с угрозой. Всё время подпаивал Григорьев. Направлял. Я хоть и милиционер, но тоже человек. Начальство смеётся. Иди служи, говорят. А как служить?» Да-а, пропал милиционер. Пропал. Эх, ещё, что ли, дёрнуть? Сходить? Нет, хватит. Это уже не лечение будет. Хватит. Башка как хронометр стала. Утром просыпаюсь ни свет ни заря. Ровно через четыре часа. И пятнадцать там каких-то, семнадцать минут. Вот эти минуты поражают. Хоть часы проверь. У всех стариков, наверное, так. Чем старше, тем меньше спят. Мозг трепыхается, боится. Вздрючивается по утрам. Хотя Даниловну взять. Свистит до десяти. Если не разбудить. Утром, наверное, отчаю. Отец – утром. На рассвете. Как он мылся в последний раз, не забыть. За три дня до смерти. Мыли в бане с младшей сестрой. С Настей. Раздели когда, стоять не может, трясётся весь. Стариковский членок как тряпочка. Как белая тряпочка. Стесняется

нас с сестрой. Ручонкой, ручонкой прикрывается. «Вы уж простите меня, старика, простите». Господи, как забыть? Муравей лезет на стебель. Лезет, падает и лезет. Падает и лезет. Как на копые. На казнь. Глаза застлало. Ничего не вижу. Где платок? Опять забыл. Да ладно...

...«Почему жизнь-то так быстро уходит? Костя? Нюра – полгода не прошло. Теперь я вот». Константин Иванович подсовывал под себя табуретку, присаживался, бормотал в растерянности: «Ну что ты, отец... Что ты... Поживёшь ещё...» В сумраке спальни махнула длинная белая рука. И снова упала с кровати. Как сломавшийся овёс. Такой была уже худобы!.. Константин Иванович сглотнул. Отвёл глаза.

Оба молчали. Осторожно переступали ходики на стене.

Потом нужно было уходить на работу. «Иди, иди, Костя. Чего тут...»

Смотрел на большой провалившийся висок отца, куда проникала сейчас слеза. Так протекает последняя вода в провалившуюся речку... Осторожно прикоснулся к виску губами. Отец зажмурился... «Поправляйся, папа...» Уводил глаза, долго пробирался к двери.

Сестра плакала на груди у брата. Голова её была как кипятилок...

Через два месяца после похорон, когда дом уже был продан примчавшейся из Владивостока старшей сестрой... будучи по редакционным делам на Авторемонтном заводе, который в ту пору находился неподалёку от Белой, почти на берегу, Константин Иванович обратно в город зачем-то пошёл не низом, где было ближе и проще, а верхней дорогой, через Старую Уфу. Было уже часов десять вечера. Темно. Постоял, покурил возле одинокого фонаря, где убивалась и убивалась мошка. Когда вышел на свою улицу и увидел дом, – сердце сразу заколотилось где-то вверху, как та мошка под фонарем, а ноги сразу разучились ходить. Дом просвечивал темноту понизу. Окна были пусты, без единой занавески, без цветка. Пусты были и комнаты. Везде словно гулял красный сквозняк. Какие-то два парня (новые хозяева? воры? кто они?) вытаскивали из красного зёва двери на крыльцо и дальше стол. Отцовский стол. Парни вытащили его, перевернули и бросили на землю. Ножками вверх. И почти сразу же один из них начал ломать. Орудовать длинной выдержгой. Стол затрепал. Константин Иванович не выдержал. В следующий момент началось какое-то безумие. Он забежал во двор, стал останавливать парней, что-то говорить про стол, что-то объяснять им, что не надо, что заберёт, что вывезет, сегодня же, сейчас, сколько вы хотите, сколько?! Не ломайте!!

Парни смотрели на перекинутый стол...

– Ну, пятёрку, что ли... За такой хлам...

Ладно. Хорошо. Я сейчас! Сунул деньги. Заторопился, побежал к Есенбердину. Коновозчику. Тот поможет. Всегда поможет. Быстро вернулся с лошадью, телегой и стариком. Стол погрузили. Так же, вверх ножками. Есенбердин окидал верёвками. Выехали со двора.

– Куда теперь, Кинстин?

– Ко мне. Домой, – не давая себе отступить, сказал Константин Иванович. Будь что будет.

Он шёл сзади, держался за ножку стола, непрерывно курил. Ничего, всё нормально. Должна же она понять, чёрт дери! Ничего. Ладно. Как-нибудь. Колёса скрежетали, стукали ободами по камням. Второй этаж. Нормально. Затащим. Скатерть на него. Незаметно будет. Должна же она. Лестница. Освещённая. Широкая. Сталинский дом. Они со столом суетятся. Расторопные. Как тараканы. В раскрывшейся двери Лицо. Лицо С Вертикальными Глазами. А за лицом – ковры, люстры, хрустали... Нет... Константин Иванович стал спотыкаться. Отпустил ножку. Отставал всё больше и больше.

На мосту через Быстрянку – остановил Есенбердина.

– Чего, Кинстин?

– Нет, не надо везти дальше, дядя Касым... Давай обратно...

– Куда?

– Себе возьми, дядя Касым.

– Так ведь не войдет! Домишка маленький. Разве не знаешь?..

Есенбердин стоял, низенький, кривоногий, в каких-то толстых, будто ватных штанах, на мягкую похожий игрушку.

– Ну, разломай... На дрова... Ещё там чего...

– Ни-ит. Такой стол нельзя-а... Лучше отдам. А? Кому-нибудь? Кинстин! – Глаза из-под кепчонки блестели. Как кнопки от тальян-гармошки.

Константин Иванович махнул рукой. Есенбердин пошёл сразу заворачивать, понукать. У первого же дома остановился, застучал в окошко:

– Эй! Стол не надым?.. Вон, хороший... Даром, даром!..Ни-ит? Ладно. Спасибо!

Дальше телега полезла в темноту улицы, к сине мерцающим, бубнящим окнам.

– Эй, хазяйка! Вон столик. Не надым? – Так предлагают игривую кошку. «Столик» свисал с телеги ещё на длину одной телеги. – Ни-ит? Удивительно! Ладно. Спасибо.

Голос и телега лезли всё выше и выше. Затихали. Телевизионные окна мерцали, точно улы по пасеке.

– Эй, хазяйка...

Облокотясь на перила, Константин Иванович смотрел на бьющееся под одинокой складской лампочкой вдали чёрненькое масло речки. Вода набегала под мост. Тянула за собой. Хотелось закрыть глаза – и как в омут головой...

...Константин Иванович всё сидел на Случевской горе. Солнце опустилось на реку, и расплавившаяся вдали река, как от поставленной красной лупы, самосжигалась в чёрных зыбящихся воротах железнодорожного моста, за которыми, казалось, уже ничего нет.

Точно с гириями, к выходу шла буфетчица с двумя сумками. Армянин деликатно за ней переступал. Старался в ногу. От криков буфетчицы, как от ударов тока, журавликом перескакивал в кусты. Снова появлялся, чтобы переступить. И опять упрыгивал в кустарник, словно ветром сметённый.

Константин Иванович стал подниматься, чтобы тоже идти домой.

На другой день, сразу после работы бегал в центре по магазинам. Вынюхивал поверх очередей, сразу становился где надо, накупал. Долго стоял за апельсинами. По рубль двадцать. В магазине было душно. Константин Иванович поминутно вытирался платком.

Дома всё добытое упаковывал, а потом укладывал. Ну, вроде бы всё. Приготовился. К отплытию, так сказать. К дальней дороге. В двух руках и за спиной. Даниловна у соседей, наверное. Сказать бы. Да ладно. Догадается.

– ...Мне бы увидеть Ноговицина. Александра.

– А вы кто ему? Минуту!.. ОВД Советского района... – Голубенькие глаза просвечивались, слушали трубку. Короткий седоватый волос на голове был кучеряв вверх, стоек. – Так. Записываю. «Цурюпы, 108\1, квартира 65. Раз-гиль-дяев». Однако фамилия. Так, принял. Дежурный, старший лейтенант Батраченко. Ждите. Будем. Всё.

Константин Иванович стоял с рюкзаком, с двумя сумками. На затылок съехала пенсионерская шляпка.

– ...Так вы... из деревни его? Из Кузьминок? Родственник! Точно! Одна порода! Там все такие.

Откинувшись от стола, милиционер смеялся. Посвечивал золотым зубом. Как украинская смуглая ночка окошком.

– Да понимаете, я ведь...

– Нету его. В патруле. Будет ездить до 23-ех ноль-ноль. Вон, дочку оставил.

Лет трёх-четырёх девочка выдывала в углу за столом карандашом в тетрадке.

– После садика приводит. Не с кем. Да вы знаете, чего говорить, – всё чему-то радовался милиционер.

Константин Иванович подошёл. Девочка была крохотной. С торчащими косичками. С личиком глазного котёнка. Карандаш и глаза остановились, замерли... Протянул ей апельсин. Девочка взяла. Удерживала большой плод двумя ручонками. Милиционер всё не унимался:

– Вам ночевать негде, понятно. Ждите. Вместе поедете. На Бульвар Славы, комната 606. Шестой этаж. Чайку попьёте, может, ещё чего, завтра он отдыхает. – Милиционер всё смеялся. Посвечивал зубком. То ли оттого, что жизнерадостный такой, то ли оттого, что так легко решил задачку. Константин Иванович записал адрес, поблагодарил, сказал, что зайдёт в понедельник. На пороге обернулся. Девочка по-прежнему удерживала апельсин двумя руками. Словно брошенную с неба большую кабалу. Знак.

– ...Передадим, передадим. Не волнуйтесь. Одна порода. Никуда не денешься. Сразу догадался. Ленка, давай обдеру апельсин!..

...Да. Одна порода. И никуда не денешься. Один к одному. Как клеймёные. Только я был брошен с двумя детьми. С погодками. Шести и семи лет. А так один к одному. Всё верно. Что Ноговицин, что Новосёлов. Глаз милиционера. Глаз-ватерпас. И лейтенант Григорьев свой был. И Стрелков. Да не один. Абсолютно верно. Одна порода. Чего ж тут трепыхаться. За версту видно. Колодки ведь клеймёные. Счастливые неудачники, толкущиеся возле порога. Всё точно...

Спинки сидений жёстко тряслись, растрясывались до громкой стукотни, до лихорадки. Автобус опять был полупустой, восьмичасовой, последний. Константин Иванович трясся на переднем боковом, как баба детей, одерживал руками свои сумки. Ногой старался подрулить к себе упрыгивающий рюкзак. По грейдеру после Черниковки шофёр гнал не на шутку. Где-то сзади всё время тарабахалось пустое ведро. Какого-то пьяного вдруг стало кидать по заднему сидению как строительные леса. Пока не укинуло, не рассыпало где-то внизу. Две пожилые женщины пытались говорить, но рты прихлопывали. Как тайны. Как свой молчок. Хотелось и смеяться, и плакать. Давно давило за грудиной, покалывало сердце. Давно перекидывал во рту таблетку, боясь прикусить язык. А автобус... уже бил, бил по ухабам. Да что же это такое! Константин Иванович привстал, постучал в выгнутое оргстекло. И тут же улетел на место. Пригнувшийся шофёр даже не обернулся. Пригнувшийся шофёр решил разбить автобус вдребезги.

Побросав сумки, не обращая внимания на скачущий рюкзак, Константин Иванович раскинулся, вцепившись левой рукой в штангу, а правой за спинку сиденья. С тоской смотрел за поля вдаль. Хоть там не трясло. Как будто бы уснувшие дневные шрапнели, ушли к закату вечерние лохматенькие облачка. И там же, вдали, солнце трепетало в чёрном тополе, как мёрзнувшая потонувшая лампадка...

Он торопился по шерботой площади, окружённой кирпичными низкорослыми лабазами. Выдыхал в красное небо голубей, как реденькую сажу, обезглавленный собор. Из ещё открытой пивной пьяницы выходили на крыльцо, как из кузницы. С лицами – как с горнами. Глаза выхватывали почему-то всё это. Стремилась унести с собой, запомнить.

Пройдя площадь, он так же торопливо шёл, оступался в узкой, по-вечернему сильно при- темнённой улице, старался глядеть под ноги, солнце между домами мешало, цеплялось как репей. Впереди, в перекрестье двух улиц вдруг увидел женщину и мальчишку. Они стояли рука за руку в низкой лаве солнца... Заторопился к ним с сумками, неуклюже побежал. Они тоже увидели его, зашепили навстречу. А он уже шёл, всё замедляя и замедляя шаг. Таращился

на них, как на маяки. Хватался за узел галстука, бросив одну сумку. Уже серый, без воздуха. Ноги его стали вдруг лёгкими, снялись с земли и, мучительно, медленно запрокидываясь, он полетел в рассыпающийся и плотнящийся чёрный пух, рассыпающийся и плотнящийся, взмахивая второй сумкой, осыпаясь апельсинами...

...он помнил, как знакомился с ней. Тридцать шесть лет назад. Она протянула ему очень узкую упругую руку. «Виктория». Протянула – как хлыст. Словно чтобы он потрогал и оценил. И он потрогал и оценил. «Очень приятно познакомиться. Костя...»

## 7. На празднике жизни

Михаил Яковлевич Абрамишин на рассвете уже беспокоился, не спал. Нужно было выпроваживать, знаете ли. Трепетными пальцами он поглаживал её жиденькие мелкозавитые волосы, которые на ощупь были прохладными, вчера, перед свиданием, видимо, вымытые шампунем. Господи, разве могут эти жалкие волосишки произвести впечатление на мужчину? Разве могут? Он жалел её. Он жалел её до слёз. Как родитель её. Как отец. Он жалел сейчас всех некрасивых женщин на свете. Как своих дочерей. И её вот тоже, и её! С мгновенно вылупившимися глазами он тут же устанавливал её на тахте. Сжимал зубы, закидывал голову. Со слетевшим за ухо зачёсом, как Соловей-разбойник с длинным жёлтым свистом.

Потом женщина целовала его. Но он уже торопил её. Соседи, соседи, знаешь ли. Ждал, когда она оденется. Быстро проводил до двери, сунул пять копеек на метро, потрепал грустное личико. Всё, всё, всё! Позвоню! Чао! До конца прослушал торопящуюся по лестнице женщину, побежал в квартиру, прыгнул на тахту, почти тут же уснул.

...Прежде чем перебраться в большую комнату в двухэтажном доме по улице Благоева 3, из которой вот-вот должны были отправить в последнюю эвакуацию восьмидесятилетнюю Фани Фейгельсон, в дом, где остальные обитатели тоже были из эвакуированных и почти все между собой родственниками – Фрида и её новый муж Янкель, часовых дел мастер, старше жены на двадцать лет, и их только что родившийся ребёнок жили на квартире у старухи Агафоновой, в мазанке, через дорогу наискосок от этого самого двухэтажного каменного дома. Комнатёнка у Агафоновой была настолько мала и тесна, всегда так жарко натоплена, столь часто тонула в пару стирки, а затем в палестинских лагерях из простыней и пелёнок, что высвеченный низкой лампой голенький младенец, дожидаясь смерти прабабки, от жары всё время сучил на кровати ножками-ручками. Словно бы всё ещё находился в красной, тесной и душной материнской плаценте.

Проснувшись, Михаил Яковлевич зевал, потягивался в постели. Затем, вспорхнув с тахты, побежал, знаете ли, в ванну.

Перед зеркалом с удовольствием намазывал щёки помазком. В импортном креме помазок таял. Потом тоже импортный ножичек, лаская, снимал всё со щёк и подбородка с первого раза. Щёки под пальцами были словно терпкое стекло. Придвинувшись к зеркалу, хлопал по ним. Лосьон – тоже импортный. Всё при желании можно достать. Из зеркала на него смотрел новорождённый младенец. Нос вот только. Но – это вопрос времени. Всё можно сделать, всё можно исправить.

Встал в ванну. Хорошо измыленное мыло походило на розовый бюст дамы. Приятно было катать, измыливать его.

Под душем – пел. Носовым, предназначенным только для дам, козлетоном. Совершенно не в ту степь. Слуха не было никакого. Но об этом словно бы не знал. Настроение было отличное. И подпортилось оно только на кухне. Из-за этих нерях. Потому что пришлось ножом, а потом железной тёркой счищать гарь со сковородки. Под струей воды. В раковине. Ничего не умеют делать, дурочки! Ничего! И главное – все всегда лезут на кухню! Показывать лезут, показывать, какие они замечательные хозяйки! Как прекрасно они готовят! Вот что удивительно!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.